



Ирина
Чайковская

АФИНСКАЯ ШКОЛА



Ирина Чайковская
Афинская школа (сборник)

«Алетейя»

1990, 1988, 1991, 2013

УДК 821.161.1
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Чайковская И. И.

Афинская школа (сборник) / И. И. Чайковская — «Алетейя»,
1990, 1988, 1991, 2013

ISBN 978-5-906860-63-7

Книга состоит из четырех повестей, в которых затрагиваются серьезные нравственные проблемы, стоящие перед обществом и школой: можно ли убивать слабых и вообще убивать, можно ли преследовать за национальность, за приверженность религии. Лицемерие и показуха, царящие в «мире взрослых», отразились и на школе, старшеклассники – герои повестей – отчаянно ищут выхода из тех тупиков, в которые зашло общество в канун Перестройки. В финале книги возникает обобщенный образ «Афинской школы», снаряжающей людей в жизненное плавание. Книга адресована широкому кругу читателей.

УДК 821.161.1

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-906860-63-7

© Чайковская И. И., 1990, 1988, 1991,
2013

© Алетейя, 1990, 1988, 1991, 2013

Содержание

Предисловие автора	6
Московская баллада	7
Конец ознакомительного фрагмента.	49

Ирина Чайковская

Афинская школа

© И. Чайковская, 2017

© Издательство «Алетейя» (СПб.), 2011

Предисловие автора

Книга «Афинская школа» сложилась неожиданно. В незапамятные времена, в конце 1980-х, в так называемую эпоху Перестройки, работая в московской школе, я написала одну за другой три повести. Формально все они касались школы, но только формально, на самом деле, речь в них шла о времени и о его сложных коллизиях, ставящих перед людьми – юными и зрелыми – свои трудноразрешимые вопросы.

Тогда эти повести опубликованы не были. Скорее всего, из-за их остроты и непривычности. Могу сказать, что «национальная тема» в ее «еврейском варианте» в тогдашней прозе избегалась, а здесь она была едва ли не доминирующей. Или тема религии, принадлежности к церковной конфессии... До самого конца советского строя религия и церковь в стране преследовались, а школа была орудием атеистического и коммунистического воспитания.

В те годы мне очень хотелось докричаться до людей – показать им, как несчастны все оказавшиеся в такой вот самой обыкновенной школе – по обе стороны учительского стола. Сейчас мне кажется, что была найдена метафора всей тогдашней (да и нынешней) бесчеловечной системы, где, в силу уродливости принятых к исполнению форм, люди – «учителя» и «ученики» – не только оказываются обделенными человеческим счастьем, но и представляют собой два враждующих лагеря.

В 2013 году, уже много лет живя в Америке, я написала повесть «Афинская школа». В ней я совсем другая, поменялось все: время, темы, даже способ письма, и однако была, была связь у этого текста с теми написанными в Перестройку. К тому же, к этому времени все три мои долгие годы лежащие под спудом повести были опубликованы. Наверное, где-то в небесной канцелярии подошел их срок.

В комментариях к ним читатели писали, что они не устарели, что многие проблемы остались, а еще, к моей радости, говорили о силе их воздействия. Все это вместе подвигло меня к тому, чтобы объединить три старые и одну новую повесть под одной обложкой и назвать книжку «Афинская школа».

Дело Школы, часто невидимое, продолжается тысячелетия, и посеянное семя возрастает неслышно, но неотвратимо, подчас далеко от того места, где упало... В последней повести, да и во всей книге, я говорю именно об этом. Мои герои многому меня научили, даже если они были моими учениками. Но были и те, кого я считаю своими Учителями, – итальянистка и переводчица Юлия Добровольская, поэтесса из Филадельфии Валентина Синкевич, поэт и мудрец Наум Коржавин...

Мне кажется, книга эта нужна современному читателю – ибо все мы так или иначе связаны со школой, будучи школьниками, их родителями, родственниками, учителями. Все мы задумываемся над вопросами бытия, которые особенно болезненны и требуют разрешения именно в школьном возрасте. Очень надеюсь на со-мыслие и со-чувствие моих читателей.

Ирина Чайковская

15 июня 2016

Большой Вашингтон, США

Московская баллада

Среда

Я проснулась среди ночи, было ощущение ужаса. Сердце билось пулеметно. В темноте взяла с табуретки стаканчик с водой, пузырек, накапала, выпила. Можно было зажечь свет, но не хотелось будить духов; сердце, успокаивайся, прошу тебя, и скорее наступай утро и чтобы не думать о привидевшемся сне, об этом кошмаре. Последнее время все какие-то чудища снятся, рожи страшные, но это хуже. Это самое ужасное, что может в моей жизни случиться и что случится непременно, но, дай господи, не скоро. Мне снилось, что мама умерла.

И именно сегодня этот гнусный сон, сегодня, когда я отвезла маму на дачу и она чувствовала себя неплохо и давление в норме, слегка только выше обычного, 150 на 90, и Клара Самойловна сказала: «Не волнуйся, Малочка, все будет в порядке. Мы с мамой твоей стреляные воробушки». Нет, там должно быть все хорошо. И в городке есть больница, плохая, правда, да где сейчас хорошие? До города, конечно, далековато, и на даче нет телефона. Но в случае чего Клары Самойловны внук – Вовка – сгоняет на велосипеде, а, если ночью, то дождутся как-нибудь утра, продержатся, у мамы с собой миллион лекарств, должна продержаться, и у Клары как-никак медицинское образование, хотя она врачом никогда не была – ушла в науку, но все же...

Нашупала под подушкой транзистор, поймала «Маяк», как раз время передают, ага, 2 часа 15 минут, почему-то я в эту пору часто стала просыпаться. Хорошо бы открыть сейчас форточку, выпустить воздух, но лучше не надо: в комнату пойдет черт знает что, только не воздух, они, гады, ночами выпускают вою накопленную пакость, и еще по субботам. Почему по субботам? Ха, из ненависти к евреям. Совсем зарাপортовалась. Сердце бьется, не смолкает; встать? Какая гнусная музыка всегда на «Маяке», надоели эти «озера синие», терпеть не могу лживые песни, хоть бы рок какой, и то лучше.

Все. Теперь, наверное, не усну, теперь мысли пойдут. Господи, как же тяжело, дай мне не думать и уснуть. Спокойно проспать до утра. Чтобы не думать. Ни о чем не думать. Ничего не вспоминать из прошлого. И не страшиться будущего. И не проклинать настоящее. Господи, дай мне! Все-таки зажгу свет. Сяду почитаю. В журналах сейчас все такое страшное, вообще не смогу заснуть, уже от этого ужаса. Заварить валерьяновый корень? Сердце куда-то проваливается, частит невозможно. Мама! Я, наверное, умру сейчас. Точно. Такое ужасное сердцебиение, сердце не выдержит, разорвется. Скорую вызвать? Тело онемело, я не могу встать. Завтра в квартире найдут мое тело мертвое. Почему завтра? Через неделю, дай бог, когда мама хватится, начнет беспокоиться, попросит Вовку или еще кого-нибудь позвонить из города, там со связью плохо, автомата с Москвой нет. Бедная мама. Соседи придут ломать дверь. Наверное, Виктор Иванович, у него инструмент найдется, у него машина...

Господи, о чем я? Надо срочно взять себя в руки, это не сердце, не сердце, это нервы. Это стопроцентные нервы, а сердце бьется из страха, что рядом никого нет, некому помочь. И мама далеко, на даче проклятой. Мама, неужели ты спишь сейчас и не чувствуешь, как мне плохо? Надо измерить пульс. Ого, как гроыхает. Так, 120. Где-то у мамы был абзидан, Клара достала, по фальшивому рецепту. Надо принять четвертинку, жуткая горечь. Через полчаса полегчает. Надо спокойно лежать и считать до ста или до тысячи. А еще лучше вспомнить «Евгения Онегина», первую главу. Это все нервы. Коробова говорит, что таких, как я, у нас в стране 90 процентов, что все с неврозами – и живут, не умирают. Все-таки врет, наверное, чтобы больничным не давать.

Больше не пойду к ней, пусть ножом режут. Надо найти какого-нибудь знающего врача, чтобы со стажем, не современного. Да есть ли сейчас такие? Кто умер, кто уже в Штатах свою клинику открыл. У нас только такие гадины остались, как эта Коробова. «Не морочьте мне голову, у вас никакое не сердце, и моча хорошая. А у меня очередь, следующий». Пришла домой как оплеванная. Хоть бы меня кто-нибудь загипнотизировал что ли. Или наркотик какой принять. Лежишь – ничего не ощущаешь, только покой и тихую радость.

А, может, в церковь начать ходить? Какую только? Я ведь еврейка, в православии есть что-то антиеврейское; а в синагогу нет, не пойду. Синагога вообще не для женщин. Может, все-таки попробовать в православную? Свечку поставить, перед иконой постоять. Молитвы ни одной не знаю, разве что лермонтовскую «В минуту жизни трудную». Ну, можно ведь не по писаному, что-нибудь от себя сказать. «Господи, дай мне силы выдержать тяжесть этой жизни, ужасную тоску и одиночество, и бессонные ночи, и возможные болезни – мои и мамины, и грядущий мамин уход, и то, что я не знаю, зачем и для чего я живу, и что никому, кроме мамы, не нужна, и что так нелепо и грустно складывается жизнь. Господи, услышь, ты ведь для всех – для православных и евреев – один, может, к евреям, твоим соплеменникам, ты даже ближе. Господи, дай нам с мамой сил». Неужели утро уже? Да, пять. Слава богу. Утро. Мамочка, с добрым утром! Как ты там на даче? Я, кажется, жива.

Да. Утро. Как там у Фадеева: «Надо было жить и выполнять свои обязанности». Это в Гражданскую войну было. А теперь не война ведь. Чего же я так хандрю? Ну что, если разобратся, что уж такого тяжелого в моей жизни, чего я разнюнилась? Вон до сих пор слезы текут. Прямо в чашку. Двухкомнатная квартира на двоих, не коммуналка, санузел отдельный, мебель старая, еще когда родители поженились, куплена, но в мебели ли счастье? Вид из окна плохой, это да. Прямо на свалку. Стоят металлические баки для мусора, день стоят, два... запах тот еще. Это да, это неприятно. И вообще место не из лучших – Центр, заповедная зона. От машин некуда деться – улочки-то узкие. Жмешься к тротуарам, а они, гады, так и норовят тебя шлейфом обдать. Ненавижу машины и еще дизельные автобусы. Дурная примета для меня с утра с дизельным столкнуться. А вообще другие хуже живут.

Что там – миллионы хуже, прямо возле заводов: стенка в стенку, или на Садовом. Юмор. Кольцо названо Садовым, а там по краям магистрали последние деревца доходят. Эти гады всем завладели безраздельно – шум, вонь. Слава богу, я не на Садовом. Но рядом. Еще что ли чашку выпить? В этот раз мед неплохой.

Кажется, не надули в кооперации. А, может, и надули – кто разберет? Но мед нужно есть, хотя бы ложечку в день, для сердца. И еще курагу, надо бы съездить на рынок на днях, если не дороже десятки. Мама говорит: «Курага мышцу сердечную укрепляет». Да. Мама. Как ты там? Тоже, наверное, чай пьешь. С Клариним вареньем черносмородиновым. Или спишь еще. Сейчас только семь, спишь, конечно. Это я... да, так я отвлеклась. Чего, собственно, мне не хватает? Здоровья? А кто сейчас здоров? Послушать Коробову, так у нас 90 % неврастеники. И вот здесь я ей верю, гадине. И вообще никакая я не больная, выдумки одни. Сама себя взвинчиваю, словами довожу чуть не до сумасшествия. Нужно оздоравливаться. Делать обтирания, зарядку по утрам. И вообще заняться лечебной физкультурой. Но для этого опять надо идти к этой гадине, Коробовой, чтобы направление дала. Ни за что. К ней – ни за что. А я вот что сделаю, я в оздоровительный кооператив запишусь. Сколько они могут брать? Денег что-то совсем мало осталось, маме дала с собой пятьдесят рублей, это помимо пенсии за папу, она брать не хотела: «Тебе, Малочка, надо приодеться, ты у нас девица на выданье». Мама все еще думает выдать меня... А я уже и не думаю.

Сорок пять. Сколько можно думать? Да, так о чем я? Опять нет горячей воды. Вот лето началось. Это всегда так. И вроде объявления не было. Кира мне недавно смешное объявление показала, из газеты: «Женщина средних лет, еврейка, ищет спутника жизни с планами дальнего путешествия». Юмор. Какая-то идиотка дала, вроде меня. Только я без планов. Все сей-

час как с ума посходили, все с планами, вон и Кира едет. Одна я сижу. Преподаватель английского языка... Сейчас других разговоров нет, кто ни встретит, сразу: «Ах, вы язык преподаете, а когда едете?» Или: «Вы еще не едете, так не могли бы...» Все, чашку сполоснула, надо одеваться. Выйти на улицу. Пройтись по магазинам. Нужен моцион.

Неужели лучше оставаться в четырех стенах? На улице люди, соседи, с кем-нибудь перекинешься словечком... Нельзя опускаться, нельзя. Мама так и говорила: «Ты здесь без меня не опускайся». Какая сейчас погода? Странно, что я радио не включила, теперь вот погоду прозевала. Солнце вроде, но ветер, да, сильный ветер, мусор несет из ящиков. Надо костюм надеть. Вот и хорошо, вечером у меня урок, не придется переодеваться. Сегодня среда, вечером Коля придет. Отличный мальчик, люблю его. Но к языку способности средние. И не больно старается. Тяп-ляп, нужно с ним построже. Не забыть взять ключ, сегодня дома никого, сегодня я дома одна, мамочка на даче. Как ты там, мама? Проснулась уже? Без четверти восемь. Нет, конечно, еще не проснулась. И в магазин еще рано идти. Вскочила по привычке, как когда в школу торопилась.

Совсем недавно было, не успела отвыкнуть. Да, уже год. И Кира год, как не работает. Но у нее ребенок, у нее семья. А у меня ни семьи, ни детей, мама одна. И работы нет. Репетиторство разве работа? Опять начинается. Чего ты хочешь, зануда! Ты когда в школе работала, ты же себе надоела жалобами, ты ж ноги едва таскала, тебе ж такая работа в гробу виделась, не знала, куда от нее убежать, а сейчас опять недовольна! Да когда же ты довольна-то будешь, а? Когда скажешь: «Господи, спасибо тебе, у меня есть крыша над головой, кусок хлеба, я еще не умерла, у меня есть мама и она тоже еще не умерла, спасибо тебе за доброту твою, Господи!» Когда ты это скажешь, неблагодарная?! А и правда, когда? Может, сейчас? Благодарю тебя, Господи. За все. Тьфу ты, литературно как-то. Как у Лермонтова. «За все, за все Тебя благодарю я». Ладно, надо идти. Открылся магазин. Ключ только не забыть, мамы-то нет сегодня. Мама, ау! А помнишь, мама, когда еще был жив папа...

Когда папа был жив... мы все были очень счастливы. Я была круглой отличницей – и в школе, и в институте. Занималась в кружке художественного чтения. До сих пор грамоты некуда девать – каждый год победительница конкурса чтецов. Очень Лермонтова любила читать баллады. Мистический он поэт, странный, мне это в нем всегда нравилось – странность. «Я примчу к тебе с волнами труп казачки молодой». Казалось бы, почему и зачем здесь слово «труп»? Кто на такой подарок польстится? Я над этим местом долго голову ломала, Людмила Михайловна не подсказывала, говорила: «Сама думай, тебе читать».

И потом я поняла, что стихотворение написано как бы с другой стороны, из антимира. Человеку ни валуны не нужны, ни мертвый кабардинец, ни труп молодой казачки, а вот тому, кто в другом, нечеловечьем мире живет, все неживое – самые дорогие подарки. Но ведь слушателей надо убедить, что мертвецы могут доставить кому-то радость. Помню, когда я читала «труп казачки», то на слове «труп» понижала голос и таинственно так улыбалась. Людмила Михайловна сначала негодовала: «Какие здесь могут быть улыбки? Это же противостоит!» Но потом я ее убедила. Хороший она была педагог, понимающий, может, я из-за нее и в школу пошла.

Что-то сейчас с ней? Жива ли? Тогда на вид ей было лет 40–50, казалась молодой, а была вся седая, красилась. И прошло уже лет 30. Сейчас, если жива, ей должно быть лет семьдесят-восемьдесят. Нет, наверное, умерла.

Господи, и маме уже восемьдесят, и мне... А детство рядом, рукой можно потрогать. И Людмилу Михайловну помню, ее жесты, интонацию. Как глаза блестели; и все это ушло, растворилось в вечности. И мама так же уйдет, и я... Людмила Михайловна мертва, а я помню ее живую, улыбчивую, она во мне живет. Может, так? Во мне ее частица. Ну ладно, а дальше, дальше. Дальше ты умрешь – и цепь прервется, частичка Людмилы Михайловны уйдет вместе с тобой в небытие...

Да, так о чем это я?

В тот год, когда «Дары Терека» читала, я опять победила на конкурсе, и мы всей семьей решили отметить событие – пошли в ресторан «Якорь» на улице Горького. Мне было семнадцать лет. Ресторанчик маленький, уютный; папа заказал «осетрину по-московски», и ждали мы совсем недолго. В больших белых тарелках нам принесли горячий жареный картофель с кусками белой заливой сметанным соусом рыбы, мы пили шампанское. На мне было белое шелковое платье с красивым узором внизу и с таким же поясом. Дома мне было страшно глядеть на себя в зеркало, так шел мне этот наряд, так оттенял черные волосы и глаза, оливковую кожу.

Официант спросил, кивнув на меня: «Иностранка? Из Мексики?» «Что вы, – заволновалась мама, – а папа спокойно и гордо ответил: „Моя дочь“. Меня до сих пор иногда принимают за испанку или латиноамериканку. Не знаю, шутил ли папа – а он был шутник, – когда говорил, что наша фамилия – Хозе – происходит из Испании, и имя мне было дано вполне иностранное – Амалия, в школе и в институте – Малка, теперь – Амалия Исааковна, а папа умер. Папа умер давно, когда мне было двадцать и я училась на первом курсе пединститута. Заболело сердце, положили в больницу, и там он умер от воспаления легких. С тех пор при слове „больница“ нас с мамой бьет дрожь.»

Папа очень любил нас с мамой, он работал в конторе и зарабатывал мало, мама иногда для порядка ворчала, что нет денег «дочке на сапоги» или «на летний отдых», но жили мы – дай бог всем так – без ссор, без скандалов. Даже когда в коммуналке пьяный Мишка располагался в коридоре прямо возле нашей двери, папа его ошарашивал спокойным «простите» и невозмутимо перешагивал через лежащее тело. Жили в бараке, среди нищих, пьяных малограмотных русских, но Исаака Григорьевича здесь уважали. Сколько раз приходили советоваться по семейным делам. Папа прошел войну, был ранен, сильно хромал, за военное ранение его тоже сильно уважали.

Пока папа воевал, мама работала медсестрой в госпитале и не получала ни копейки денег – только паек. Она дала такой зарок, чтобы папа вернулся с войны живым. И он вернулся – раненый, но живой. А после войны уж мама почти не работала, занималась домом, мной и папой – нам по очереди дали отдельную квартиру, вот радость была; да, почему-то все самое радостное и светлое ассоциируется у меня в памяти с тем временем, когда папа был с нами; если нет сна, я стараюсь представить себя маленькой и папу рядом, как он мне поет колыбельную, укачивает. Каждый вечер папа приносил нам с мамой маленький гостинец – кулечек пряников или тянучек. Интересно, куда с тех пор подевались эти простенькие, но удивительно вкусные сливочные тянучки? За эти годы много чего исчезло навсегда. И тянучки пропали. Исчезли так же, как годы детства, проведенные с папой.

Ну вот, прошла – настроение немного улучшилось. И продукты купила. Три больших пакета кефира и молоко, теперь смогу сделать творог и в субботу отвезу маме. Если объединить пять моих учеников в одну группу, я была бы занята всего какой-нибудь день в неделю, скажем, понедельник, а со вторника могла бы находиться на даче, с мамой. Но не могу. Другие объединяют, а я – нет. Принцип такой. Они же все разные – и по возрасту, и по подготовке, все требуют индивидуального подхода. Я ведь учитель, а не халтурщица, не репетитор как таковой. Тем только денег побольше подавай. А я плату беру такую, что все говорят: «Не ценишь свой труд. Тебе по нашим временам при нынешнем спросе спокойно можно вдвое брать». А я не могу, совестно. Это ж дети. Откуда у их родителей деньги лишние? Что они, воруют?

Виноваты они, что в школе детей плохо учат? И еще у меня есть один резон, уже личный, не для чужих.

Я самый обычный учитель, не экстра-класса, в институте не преподавала и не преподаю, за границей не стажировалась, с иностранцами практики не имела. Так что настоящего разговорного языка – увольте – не знаю, грамматику – это да, это пожалуйста, произношение, гово-

рят, тоже неплохое, а в остальном... Вы попробуйте, работая в школе, будь у вас хоть трижды красный диплом, не забыть язык...

Но про это я никому не говорю, держу про себя. Пусть думают, что я такая бесребреница. А я просто очень гордая. Мама говорит, что я из-за гордости своей замуж никак не выйду. Возможно. Гордая, робкая и стеснительная до крайности – три самых жутких черты характера, разве такая может в наше время найти себе «мужика»? Вон подумала и даже покраснела. Э-эх. И еще одно хорошо в том, что я учеников не объединяю: есть ощущение работы, занятости, ежедневного труда. Но не того, каторжного, на выживание, который был в школе, а добровольного, необременительного и престижного. А деньги в сущности те же. Ну вот, расставила все пакеты, хлеб – в целлофан, вот тоже повезло – купила черный круглый, кто рано встает, тому и верно, бог подает. Газеты принесла, целых два журнала, будет чем заняться.

Газетка, газетка, газеточка моя. Какой портрет хороший. Народная артистка СССР. Глаза красивые. А как она? Она тоже над этим думает? Или ей этого не нужно? У нее театр. Она обдумывает роли, у нее репетиции, спектакли, поклонники, овации. У нее уже внуки, наверное, Она умрет с сознанием исполненного долга. На плите напишут: «Народная артистка СССР». Люди будут ходить, носить цветы. А я? А я никому-никому не буду нужна и после смерти, никто не вспомнит...

Ученики? Да, брось ты. Кто вспоминает учителей? Инглиш, подумаешь! Если бы хотя бы литература или математика... Если бы любил меня кто-нибудь, кроме мамы, он бы пришел ко мне на могилку. Хотя бы так, хотя бы так. Чтобы кто-нибудь пришел на могилку... ни ребенка, ни собаки, ни собаки, ни ребенка. Прекрати! Опять истерика начнется. У тебя все хорошо, слышишь? Ты здорова, еще не стара, у тебя есть мама, крыша, хлеб. Двести девять. Пятьдесят один. Девяносто шесть. Кира, ты дома? Да нет, ничего не случилось. Ну, зачем? У тебя Леничка. Ах, в садике? Ну если в садике... А ты действительно ничем не занята? И не спешишь никуда? Ну что ж... тогда, может, действительно... Приезжай, Кира. А то я тут... умираю.

Кира ушла. А я снова одна, с невымытыми чашками. Надо помыть. Вставать не хочется, сидела бы и сидела. Почему нет сил? Ведь ничего совсем не делала, утром только немного прошлась. На душе как-то ужасно тревожно. И было, так еще Кира добавила. Какой-то самозванец где-то *на польской границе*, не то Галич, не то Панич. Лучше не думать, все забыть. Не хватало еще начать об этом думать, слухи пустые.

Надо бы газеты почитать, сейчас чашки только вымою, да в газетах не будет... Пусть Кира едет. Последняя из могикиан. А я буду самая последняя. Я не тронусь. Мне в сущности некуда ехать. И маму куда я дену, восьмидесятилетнюю? Восемьдесят, а крепче меня, стучу по дереву, поколение такое – чего только ни испытало: мамин отец до революции был краснодеревщиком, имел свое дело, потом все пошло прахом, и он с семьей начал колесить по России – я так и не поняла, то ли от властей скрывался, то ли искал, где лучше: голод был, разруха.

Мама родилась на Украине, в школу пошла в Кисловодске, потом были Ташкент, Одесса, Харьков. В дедушке жила предпринимательская жилка, в Ташкенте он затеял небольшое предприятие по производству абрикосового повидла. Маме запомнилась гора абрикосовых косточек во дворе саманного домика в Старом городе. Затея быстро прогорела. Дедушкин компаньон с горя умер, потом, много лет спустя, к вдове этого компаньона они нагрянут в эвакуацию.

Плохо жили, бедно, голодно, в страхе. Дедушкина сестра еще до революции уехала в Америку; когда маме было лет десять, они получили открытку из Америки от мадам Котляревской – мамина девичья фамилия Котляр – так дедушка ужасно испугался, открытку сжег и, конечно, не ответил. Ха, сейчас где-то в Америке, возможно, проживают мои троюродные родственники. Интересно знать, как им живется. Довольны? Счастливы? Без проблем? Говорят, что проблем там еще больше, чем у нас, только они другие, иного уровня. У нас проблемы чисто житейские, бытовые, а там карьерные, профессиональные и прочие.

Я иногда пытаюсь представить себя в Америке. Становится так тоскливо, как даже здесь не бывает, сердце сжимается. Не подхожу я к той жизни, я по типу неудачница, хнычица, хандрюша, постоянно в меланхолии, вечно думаю о плохом, копаюсь в себе и ищу смысла жизни. Что мне делать среда сытых и довольных? Я же явно там сдохну, меня тот мир отторгнет, как инородное тело. А Кира говорит, что все сначала так думают, а потом ничего, привыкают. Там, говорит, гораздо легче жить, там от жизни можно получать удовольствие. Говорит, а глаза у самой бегают.

Что ей, преподавательнице русского языка и литературы, делать в чужих краях? С другой стороны, что ей делать здесь? С работы-то выгнали. Наверное, я ей завидую. Наверное. Но зачем так много кричать, негодовать, зачем так ехидно передразнивать директора?! Ничем он не хуже других. Я работала в четырех школах. В трех директора были много хуже. Подумаешь, деспот, разве можно у нас директору не быть деспотом? У него же школа развалится. Борис Львович хороший учитель, знающий, прекрасный администратор, политик, Кира не работала при директорах-дураках, невеждах, хамах и антисемитах, потому и брыкается. А, может, и по другой причине. Сейчас модно выступать за демократию, все и кинулись. И Кира туда же. Почему она раньше молчала? Почему она выступила именно сейчас? Правда, поплатилась. И я за ней следом вылетела, дуреха. По-глупому.

Четырнадцать сорок пять. Сейчас буду мыть чашки. В четыре часа придет Коля. В пять Кира обещала позвонить. У нее ко мне какое-то дело. Вечные тайны. Что сейчас делает мама? Отдыхает, наверное, сидит в шезлонге, в саду. Что-нибудь читает. Вообще говоря, сейчас как раз время позвонить. Я еще до маминого отъезда задумала, при маме было это невозможно, телефон у нас в коридоре. Сегодня с самого утра вертится у меня в голове: позвони, позвони. Но страшно. Потом еще вопрос: куда звонить? На кафедру – спросят, кто такая. А звонить домой – неудобно. Жена подойдет или сын, надо будет что-то сказать. Потом еще вопрос: когда звонить? Днем он может отсутствовать, сидеть где-нибудь в библиотеке, а вечером как раз вся семья соберется, и опять неудобно. Лучше отложу до завтра.

А сейчас до Колиного прихода спокойно читаю. Узнаю, что в мире делается. Какой-то там Галич или Панич. Кире это жизненно важно, ведь могут закрыть границы. И никуда она не выедет – ни тебе в Израиль, ни в Америку. В Америку уже давно никто не едет – не берут. Что-то такое Кира говорила, что ей, с ее биографией, могут дать статус беженца. Смешно. Какая биография?

Выступила на педсовете с разоблачениями директора; мол, деспот, поставил себя вне критики, кадры не выдерживают и бегут. Когда выступила? Когда уже можно было, когда критиканство в моду вошло. Все средства информации в один голос заговорили: больше демократии, больше демократии, вот и Кира на педсовете про то же. До этого-то не решалась, до этого только мужу на кухне жаловалась на диктатора Розенблюма, а теперь ату его, так? Конечно, я его не оправдываю: диктатор. Но умный, образованный, к тому же еврей. Все, с кем я прежде работала, а я четыре школы сменила, были глупы, неинтеллигентны, предельно невежественны и в трех случаях из четырех антисемиты. В последней – до Розенблюма – школе ученики при моем появлении дружно кричали: «Да здравствует израильский сионизм», а директриса только посмеивалась и разводила руками: «Что вы хотите – такой контингент, у них это в крови – пролетарии, к тому же международная обстановка... Если желаете, можно вызвать родителей», и все продолжалось в том же духе.

Стороной я узнала, что директриса активно участвовала по партийной линии в разгроме одной известной математической школы, за глаза называемой «маленьким Иерусалимом». Стала приискивать себе место, и так оказалась у Бориса Львовича Розенблюма. И он мне сначала понравился.

Понравился по контрасту с бывшей директрисой: та была антисемитка, он – еврей; она малообразованная, плохой историк, он хорошо владел своим предметом – физикой, она была

женщиной, а он... соответственно. Последнее обстоятельство было очень важным. Мне ужасно надоела бабская атмосфера школы, разговоры о детях и продуктах, мужчина директор создавал вокруг школы особенный ореол, особенно нестарый, особенно не из партийных боссов. И поначалу я подумала: наконец то самое. Вокруг звучал хор недовольных, все дружным шепотом корили Бориса Львовича за авторитарность, а я их урезонивала: помилуйте, да где взять демократа? На этой должности демократа в две минуты съедят, вы же и съедите. Работалось трудно, хотя классного руководства в первый год у меня, слава богу, не было. Я вела кружок английского языка, кружок художественного чтения, это помимо уроков, домой приходила около пяти.

Директор особенно меня не трогал. На второй год все изменилось, я получила класс и, соответственно, стала винтиком в жестком механизме, управляемом директором. Классные руководители получали сверху указания и должны были довести их до детей, тем следовало их выполнить, в противном случае классный руководитель получал сверху нагоняй и считался не справившимся с делом. Я числилась в несправившихся. Меня не увлекали идеи, навязываемые сверху. Так же, как и ребят. Директор перестал улыбаться, моя фамилия все чаще звучала на педсоветах. К тому же, я предельно уставала. Не было сил на домашнюю подготовку, проверку тетрадей, составление графика контрольных работ, тематического и проблемного планирования, оформление кабинета и встречи с родителями, работу с двоечниками и индивидуальную работу, а также на многочасовые планерки, совещания и педсоветы, которыми эта школа славилась.

Директор любил речи и мог их произносить часами, нажимая на то, что школа наша в передних рядах педагогики сотрудничества. Кого и с кем, я так и не поняла. Назревал кризис. Идя на постылую работу, я мечтала сломать ногу, чтобы получить долгожданный больничный. Дистония и невращения мои усиливались, но Коробова считала эти болезни не существующими в природе или присущими от рождения 90 % советских людей, поэтому идти к ней за освобождением было бесполезно. В это время, а дело было в самом конце учебного года, и выступила Кира со своими обличениями. Она пришла в школу незадолго до меня, числилась в любимицах, была на хорошем счету. Борис Львович с похвалой отзывался об использовании ею технических средств на уроках – у нее имелся старенький проигрыватель с дребезжащими пластинками, – и тут такой пассаж. Взбунтовалась, ударила в спину.

Когда она в конце педсовета попросила слова, учителя были ужасно недовольны: сидение длилось уже четвертый час, все запланированные отчеты и речи были скучны и неинтересны. Софа, вторая англичанка, тайком читала книжку, Виталий, историк, просматривал газету, многие проверяли тетради, но тоже загораясь, так как Розенблюм мог за это и прогнать, у меня в тот день нестерпимо болела голова, к тому же, в духоте я начала задыхаться. С ужасом я думала, сколько это мучение еще будет длиться, как вдруг выпорхнула Кира, тогда мало мне известная учительница, мы с ней здоровались – не больше, впрочем, я и с другими была не ближе, и понеслась, понеслась. В школе атмосфера зажима критики, авторитарность, доведенная до самодурства, никакой заботы об учителях. Все только рот раскрыли. Софа книжку отложила, словесники из средней школы отодвинули непроверенные тетради, я забыла про духоту.

Кира кончила и в абсолютном молчании пошла на свое место, рядом с Софой. Все смотрели на Розенблюма. А он металлическим голосом, глядя поверх голов, сказал, что лимит времени исчерпан и пора расходиться. Начались шевеление, кашель, и сквозь этот шум не все слышали конец его на этот раз краткого выступления. Что-то вроде: «Решающий бой экстремистам будет дан в назначенный срок, о коем вы будете оповещены дополнительно».

И очень скоро срок настал. Была назначена аттестационная комиссия по проверке работы Киры Леонидовны Кин, а уже через неделю собран новый «малый» педсовет с обсуждением ее личного дела. Выступил Виталий, председатель комиссии, незадолго до этого случая выбранный в местком, он, запинаясь, читал путаное, но грозное заключение комиссии о Кириной

профнепригодности и неумении пользоваться техническими средствами. Потом выступил секретарь парторганизации, потом председатель месткома, они напирали на ужасающий моральный облик товарища Кин.

Подтверждением этому выводу было то, что у Киры не было классного руководства, оказывается, ей просто нельзя было доверить класса. Софа, ближайшая Кирина подруга, у них общие «детские интересы» – правда, Софа – бабушка, – выступила и сказала, что педагога Кин нельзя впускать в класс, так как своими высказываниями она развращает юношество. И что как-то, идя по коридору мимо класса, где шел урок литературы, она такое услышала, такое... Мне было смешно и горько, я оглядывалась, неужели никто, ни один человек не вступится. Да будь Кира хоть трижды профнепригодна и четырежды морально неустойчива, неужели не ясно, что судят ее не за это. Стояла тишина, очень напряженная. Софины слова раздавались гулко, били по нервам, все лица были устремлены на директора, ждали, что он скажет. А он сказал, что коллектив не намерен держать у себя «на балласте», так и сказал, неквалифицированных учителей, отлынивающих от общественной работы и не могущих по своим моральным качествам иметь классное руководство. У таких как Кин, – сказал директор в абсолютной тишине, – нет опоры в нашем слаженном коллективе. Два года ее работы показали ее полную некомпетентность, – он с достоинством выговорил это слово, – мы без сожаления расстанемся с членом, порочащим наш образцовый школьный коллектив, спаянный педагогикой сотрудничества.

Он кончил, вытер рот платком. Все молчали. Кто-то робко заикнулся, что надо, мол, дать и подсудимой слово. Но общим голосованием в последнем слове Киры было отказано. Среди голосовавших за это решение не было меня. Я была против. Чисто инстинктивно. Ну как можно лишить человека возможности возразить? Это же его право. И я проголосовала против. Одна. Кира потом мне говорила, что если бы не моя рука, то она бы окончательно разуверилась в людях.

В общем через день после педсовета директор вызвал меня к себе. Разговор был недолгий. Розенблюм сказал, что некоторые родители вверенного мне класса жалуются на отсутствие среди детей общественной работы, плохую дисциплину и низкую успеваемость. Директор говорил мягко, не повышая голоса. Сделав паузу, продолжал. Посоветовавшись с парткомом и месткомом, дирекция пришла к выводу, что мнение этих родителей имеет серьезное основание. Общественная и учебная работа в классе запущена, коллектив деградирует. Что вы можете на это сказать? Я молчала. А что скажешь? Действительно деградирует. И я деградирую вместе с ними.

Вздыхнув, директор подвел итоги нашей вполне мирной беседы. Я советую вам подать заявление и не доводить дела до выводов о вашей профнепригодности. Я слишком хорошо, – он выделил это слово, – слишком хорошо к вам отношусь. И он посмотрел на меня так, что я подумала: а вдруг действительно? Взгляд был как будто человеческий. Но последняя его фраза на выходе из кабинета меня отрезвила. Он пропустил меня в дверях и произнес заговорщическим шепотом: «С кем вы объединились? Сейчас для нас главное консолидация и сотрудничество, а вы...». Дальше в интонации снова появилось что-то человеческое: «Я вам не говорил, у меня были определенные планы насчет вас...», но тут в помещение вошла секретарша, и он умолк.

Через несколько дней я подала заявление об уходе по собственному желанию – благо учебный год уже кончился и я никому в школе уже не была нужна. Желание мое удовлетворили. Так мы с Кирой оказались без работы. Кира считает, что я за нее пострадала. Я ей не говорю, что все равно бы ушла, не выдержала бы. А так нашелся повод, да еще такой идейный. В сущности мне одинаково неприятны и те, и эти.

Я устала от общественной борьбы и интриг. Мне хочется, чтобы люди были людьми, не больше. А все-таки интересно, какие планы насчет меня были у Розенблюма. Кира, идиотка,

считает, что личные. Она, якобы, давно замечала, что он ко мне равнодушен. Вот дуреха! Пару раз и я ловила на себе его пристальные взгляды, но из этого еще ничего не... Он, как положено школьному работнику, женат на школе, днюет в ней и ночует. Живет один, по хозяйству помогает сестра, она в соседнем подъезде. Кажется, мы одногодки... Вот и еще один шанс уплыл... Ха.

Внезапно осознала, что сижу возле телефона и листаю телефонную книжку. Позвонить? Только скорее, иначе расхочется. Набираю номер. Гудки. Слава богу, никого. Нет, кто-то подходит. Его голос. Положить трубку? Пауза, он кричит але, а я не отвечаю, не отвечаю, и опять не отвечаю. И он кладет трубку. Снова гудки, только частые. Вешаю трубку. Да что же это такое? И почему я такая трусиха? Ведь он же уже подошел, подошел к телефону. Мама бы сказала: «А ты позвони еще раз». Может, правда, еще раз позвонить? И я звоню. Подходит женщина, должно быть, жена. Голос неприятный, с фрикативным «г»: «Кого вам надо?» Я опять вешаю трубку и плачу.

Ужасно невезучая. Но случилось это недавно. В детстве и в юности этого не было, жизнь текла молоком и медом. Рю-рик, Рю-рик – странное какое имя. Не более странное, чем мое, – Амалия. Имена для меня не случайны. Имя – это судьба. Не случайно, что меня в моем одиночестве и неприкаянности зовут Амалия, не случайно, что его называли Рю-рик, Рюрик. Ведь он исследователь древнерусской литературы, знаток славянской письменности. Такому и нужно называться древнерусским каким-нибудь именем, Рюрик. Неужели ты никогда обо мне не вспоминаешь? Неужели этот случайный звонок тебя не всколыхнул и ты не подумал: а вдруг это она? Может, она еще помнит, хотя столько лет... десятилетий...

Я встретила тебя в год смерти отца, мне было двадцать, а тебе, преподавателю института, лет тридцать пять, не больше. Сейчас тебе – страшно сказать – шестьдесят. Но не могу и не хочу представлять тебя старым. Я ведь с тех пор тебя не видела, нет, видела, один раз, уже после института. Ты защитил докторскую, был молодым профессором, появилась рыжеватая бородка, очень тебе шедшая. Мы тогда случайно встретились и проговорили – даже не знаю сколько проговорили – часа три или больше. Ты сказал, что сына никогда не оставишь. Зачем ты это сказал? Я ведь ни о чем не спрашивала и ни о чем таком не говорила. Мы беседовали о науке. И вдруг: «А сына я никогда не оставлю». Тогда я ничего не поняла, до меня вообще долго доходит. Имя твое – льдинка на языке. Рю-рик, Рю-рик.

Разложила тетради – нужно подготовиться к Колиному приходу, кое-что посмотреть. Половина четвертого. Сейчас быстро подготовлюсь и просмотрю газеты. А до маминой деревни газеты не доходят, там их никто и не выписывает. Вот и славно. Мало деревне своих забот, еще думать о мировых и общественных неприятностях, катастрофах, катаклизмах. Вон какой-то самозванец объявился на польской границе, то ли Галич, то ли Панич; но имя точно Григорий. Объявил себя потомком Рюриковичей, претендует так сказать... Даже если не слухи, в газетах ничего не напишут. Кира собирается ловить голоса. Обещала позвонить, и еще у нее что-то есть, интригующее. Вечно у нее какие-то тайны, загадки. В чем-то мы с ней похожи. До сих пор на «вы». Кира моложе меня на десять лет, у нее муж математик и пятилетний сын Леничка. В их ближайших планах – отъезд. Они и так слишком, по Кириным словам, задержались: у Бори был допуск, и его держат вот уже пять лет. Но сейчас, кажется, отпускают.

Все Кирины разговоры вертятся вокруг отъезда, говорит она много, но занимается исключительно Леничкой. Все дела делает Боря. К делам Кира не способна. В этом мы тоже сходимся. Кира – идеолог, а Боря деятель. А Леничка – очаровательный мальчик, с ярко выраженным семитским типом.

Кира смешное сегодня сказала: страна раскололась на две части: семиты и антисемиты. Третьего не дано. Забавно, не больше. Кира слишком много кричит о разгуле у нас антисемитизма.

Странно, что мне всю жизнь нравились светлые. Люблю славянский тип или варяжский... Славяно-варяжский. Коля напоминает одного мальчика из моего детства, он был классом старше – красивый, рослый, занимался спортом и комсомольской работой. Но когда встречался со мной в коридоре, краснел. Сначала я не понимала, думала у него кожа такая, а потом сама начала краснеть при встречах. Его звали Сережа. Он погиб по выходе из школы в автокатастрофе. Мы не сказали друг другу ни слова. Это моя первая любовь. Коля похож на Сережу, но в плечах поуже, волосы длиннее. Бездельник. Сейчас придет начнет путаться, до сих пор не освоил континиус. Колю мне сосватала Кира. У нее он занимается русским языком, вероятно, с тем же рвением и успехом. Парень явно негуманитарный, поступает на физфак, русский язык ему, чтобы не вылететь на сочинении, а английский... английский для дальних целей, как у многих сейчас. Отец физик, кандидат – все сведения от Киры. Но кое-чего Кира не знает, а я знаю.

Колин отец тайно пишет, в стол. Рассказы. Случайно выяснилось. Коля сказал, что ему негде заниматься, а у отца отдельная комната, где он запирается и пишет рассказы. Мне стало интересно. Он обещал принести, с разрешения, конечно. Любопытно, что у него самого эти отцовские рассказы никакого интереса не вызывают. Когда я спросила, о чем, он замялся и ответил, что ему было недосуг прочитать: много задают по программе. Основные интересы, как я поняла, – гитарные; любит компанию, есть уже и подружка... Ох, уж этот Коля. Ну хорошо, кажется, подготовилась, домашнее задание письменно, страница 21. Мало, конечно, но лентяй ведь, все равно не сделает. Надо будет придумать для него что-нибудь этакое... Без пятнадцати четыре. Четверть часа на газеты. Не забыть отвезти газеты маме.

Летом как-то не читается, хочется скорее на воздух, на природу, чтобы все городское и общественное забыть, чтобы время остановилось и ты не ощущал в каком веке и в какой стране живешь. В субботу полностью отключусь, полностью. Буду собирать клубнику или что там поспело? Сидеть в шезлонге, дремать, все, что здесь доступно оку, спит, покой цена. Да, а вот дальше не подходит. Восток уже не дряхлый, и грузин не сонный, и Тегеран, и Иерусалим не мертвы и не безглаголен. Сто пятьдесят лет после Лермонтова. Восток забурлил, пришел в движение, к чему это приведет? А во мне есть Восток? Есть, хотя родилась и живу в северных широтах. Неискоренимо, гены.

Иногда ощущаю в себе восточное бешенство, восточное сладострастие, прямо Далила какая-нибудь. Когда слышу арию Далилы в исполнении Обуховой, думаю: это про меня. Могла быть такой, но не стала. Время ли, страна ли тому причиной? Все во мне отсыхает и отмирает: мысли, чувства, желания. В принципе мне уже ничего не надо: только быть здоровой и чтобы рядом была мама. Нет, пусто в газетах, пусто: все их новости я знаю наизусть, а слова эти мне давно надоели, отвратительные слова, не человеческие. Про самозванца, естественно, ни гугу, а в моем сознании, надо сказать, он уже существует, этаким фантом Григорий. В России все повторяется, возвращается, воспроизводится. Такая страна. А что здесь? Эта газетенка позавбавней. Кое-что о законе и благодати. О благодати? Любопытно. Кто автор? Автор Р. Рязанцев. Да, Р. Рязанцев. Он? Звонок. Вот и Коля пришел. Странно, что в этот раз не опоздал.

Пять часов вечера. Только что ушел Коля. Сейчас выпью чаю и пойду прогуляюсь. Мама сейчас тоже пьет чай, по нашему общему с ней и англичанами обыкновению. В сущности мне, кроме чая, и не нужно ничего. Мяса я не ем, рыбы тоже, употребляю ограниченное число продуктов – творог, сыр, хлеб, редко какую-нибудь сваренную мамой кашу, живу в основном чаем, теперь, когда в магазинах не стало сладостей, обхожусь хлебом. Так в течение уже многих лет.

Мама часто ворчит, оглядывая меня: «Сорок лет, а все как девочка. Когда мясо нагуляешь? Мясо нужно есть». Мяса я не ем не потому, что как Кира говорит, от него стареют, а просто оно мне не по вкусу, и теперь я уже и представить не могу, как можно есть кусок коровы

или овцы, это для меня как каннибальство. Я не вегетарианка, овощей в моем рационе почти нет – траву не люблю, а все прочие магазинные овощи занитрачены и вызывают у меня рвоту.

Иногда я думаю, как бы я питалась в Америке, там ведь все есть. Наверное, почти так же, только творог был бы магазинный, а не домашний. Прибавились бы сласти, я сластена, фрукты и ягоды – всю жизнь мне их не хватало, а в остальном – так же. Странно, некоторые меняют местожительство из-за колбасы, которой у нас нет. Мне придется туго, когда исчезнет молоко и хлеб. Возможно, такое время наступит, в нашей стране нет ничего невозможного.

Иногда очень хочется съесть шоколадную конфету. Вот сейчас, например, с чаем. А у меня есть. Коля принес громадную коробку, сегодня у нас последнее занятие. Где такие коробки достают? Вкусная конфета. Приятно сидеть и ни о чем не думать. И о статье не думать, под которой значится Р. Рязанцев. Может, еще не он. Не хочу волнений, не хочу разочарований. Статью посмотрю завтра. Сейчас спокойно допью чай, помою чашку, прогуляюсь...

А вечером читаю рассказы Колиного родителя, папка тоненькая, там штук пять, не больше. Надеюсь, не страшные, иначе опять ночь без сна, хватит с меня кошмаров. Чашку на полку, еще одну конфету в рот, спасибо, Коля. Но по твоим скромным успехам эта конфета мною не заслужена. Звонок. Кто бы это? А, Кира, наверное, она же обещала. Слушаю. Кира, вы? Свободна. Да нет, ничего особенного, обычно себя чувствую. Каких гостей? Что вы придумали? Я собираюсь погулять, и у меня ничего нет к столу. Чай? Чай есть, и даже конфеты. В семь часов? Вечно у вас загадки, Кира. Да, а что слышно про самозванца? Выдумки? Ложные слухи? Было опровержение, говорите? Ну и слава богу. Опустила трубку, прислушалась к себе.

Неужели мне жаль, что слухи о самозванце не подтвердились?

Ловлю себя на мысли, что иду по нашему знаменитому бульвару и не озираюсь по сторонам. А лет этак десять назад шла с надеждой встретить кого-нибудь из бессмертных – Окуджаву, Нагибина... Бульвар захирел; похоже, здесь теперь можно встретить только пенсионеров с газетами. Бульвар, с двух сторон обвеваемый выхлопными газами...

Раньше машины тоже были, но в меньшем количестве, и я их как-то не замечала – глазела по сторонам. Когда-то и в метро глазела, и в электричке, были интересные человеческие лица – женские, мужские: казалось, каждый человек несет в себе миллион и одну тайну, все знают что-то такое, что мне не известно, хотелось приобщиться, узнать. А как-то я загадала: если однажды мой взгляд потухнет, как у этой усталой женщины, сидящей в вагоне метро, не отозвавшейся даже на сноп солнца, ворвавшийся в окна на станции Ленинские горы, тогда, тогда... лучше не жить.

А сейчас? Сейчас и станции такой больше нет, из-за технических неполадок поезд ее проскакивает не останавливаясь. И люди вокруг мне давно не интересны. Большая их часть объединена одним желанием, где бы что-нибудь урвать, достать, выбить, чтобы накормить и одеть себя и свою семью. Интеллигентных, просто красивых лиц в толпе все меньше, чаще мелькают почти звериные хищные морды. Жуткая картина одичания, Смутное время, непонятное, страшное. И все вокруг говорят: надо бежать. И рада бы бежать, да некуда. Здесь, в этой чудовищной стране, мое все. И во всякой другой – даже благополучной, даже сверхцивилизованной, – будет мне худо, неудобно и чуждо. Или все это от идеализма? В конце концов я ведь еврейка и моя историческая родина не здесь.

Не знаю, откуда родом наша фамилия. Папа говорил – из Испании. Вполне возможно. До изгнания в XV веке в Испании было много евреев – философов, торговцев, политиков. Они считали эту страну своей родиной, гордились ею, работали для ее славы и богатства, а потом их изгнали – в один день, всех, кто не поменял веру и не захотел предать закон отцов. Их изгнали голых и босых, обобрав до нитки, с насмешками и плевками. Плывите, мол, без вас обойдемся, а ваши золото и дома нам пригодятся для истинных граждан и патриотов нашей христианнейшей державы.

Так было. Держава пришла вскорости в полный упадок. А евреи, в далекой Голландии обретшие себе новую родину, не смогли забыть старой. По вечерам они собирались и пели протяжные испанские романсы, они по крупицам собрали древние тексты и издали в Голландии книгу испанских песен-романсеро. Так было. Обо всем этом я узнала от тебя, человек со странным славяно-варяжским именем Рюрик. Рю-рик, Рю-рик. Я всегда произношу твое имя два раза и как бы нараспев, мне слышится: в нем живет эхо. Рю-рик, Рю-рик. Как много ты знал об еврейской истории, гораздо больше меня, еврейки. С каким упоением я тебя слушала. Как сладостно вспоминать об этом. Вспоминать, вспоминать...

В тот год я была ужасно счастлива. Наконец-то поступила в институт, да не куда-нибудь, а на иностранное отделение педагогического, куда таких как я, вообще не брали.

После двух моих неудачных попыток поступления на филфак, папа стал искать знакомства и нашел какого-то фронтового друга, работавшего в министерстве. Тот позвонил куда надо. Речь уже шла о факультете иностранных языков. И меня приняли. Когда я увидела свою фамилию в списке, у меня отнялось дыхание, похолодели руки. Боже, я студентка! Позади два мучительных года работы в школе, постоянной зубрежки и, главное, самогрызни, когда жить не дает одна и та же мысль: ты хуже всех, ты хуже всех, ты не поступила, а все поступили.

Первая лекция была по введению в языкознание. Я пришла на нее в том самом белом платье с цветным пояском, в котором была когда-то в ресторане «Якорь». Мне бы и сейчас оно было впору. Прозвенел звонок. Аудитория гудела и не затихла, даже когда на кафедре появился лектор. Я сидела в первом ряду, но с трудом слышала его имя Рюрик Григорьевич Рязанцев. Он был высок, худощав, светловолос, он не владел аудиторией. Точнее не хотел с ней заигрывать, даже вступать в контакт. Он довольно тихим голосом, с остановками, излагал нам основы своего сложного предмета.

Я вслушивалась, но было так шумно, что трудно было что-либо услышать. Порядка он не наводил, голоса не повышал. Иногда в его речи прорывались какие-то странные, озорные интонации, голос звучал ломко, по-мальчишески. Он оживлялся. Связано это было не с нами, а с тем куском его лекции, который, видимо, был ему чем-то особенно интересен.

Настоящий ученый, чудака, совсем не профессор, читать лекции не умеет, я сидела завороженная. После лекции вдруг услышала недовольный голос сидящей сзади студентки: «Фу, какого зануду прислали, скука смертная. Давайте, девочки, его выживем».

Через минуту я была в коридоре. Догнала его уже возле деканата. Пробормотала какой-то вопрос. Он смотрел с любопытством, что-то ответил, быстро ушел. Я осталась стоять, взволнованная, красная. Было ощущение чего-то свершившегося. Вечером того первого дня я шла домой из института со своей студенческой сумкой, медленно шла, наслаждаясь прохладой.

Пряно пахло прелыми листьями, и этот запах еще усиливал впечатления начала моего студенчества. Как хороша жизнь, как много впереди увлекательного, как радостно ощущать на себе взгляды прохожих, нет, двадцать лет еще не так много, хотя...

Я оглянулась. Он стоял сзади: «Извините, я не помешал? Вы так хорошо задумались. Уж не над проблемами ли языкознания?» Озорные, мальчишеские нотки в голосе, как тогда, в аудитории. Я была ошарашена, не знала, что сказать, но он не ждал ответа: «Хотите я покажу вам райский сад?» и повлек меня в сторону от общей тропы. Мы зашли в какую-то калитку и оказались в скверике, шедшем параллельно дороге. Здесь никого не было: видно, тайна его входа была известна не всем. Запах прели был тут еще сильнее. Мы молча шли к метро. Его внезапная говорливость исчезла, я была слишком потрясена нашей встречей. Возле метро мы расстались, я сказала, что должна еще зайти в магазин, – и убежала. Бывает слишком много счастья, я боялась, что оно начнет литься через край. Долго-долго бродила по вечернему городу, повторяя: «Я счастлива, я счастлива», в голове отдавалось «Рю-рик, Рю-рик».

Он искал меня глазами. Находил. Я незаметно кивала. Начиналась лекция. Я не писала, слушала, радовалась мальчишеским интонациям. Чудесный учебник Реформатского, получен-

ный мною в библиотеке, вразумительно и с блеском разъяснил мне многие премудрости языкознания. Этот учебник стал моей настольной книгой. Отправляясь на лекцию, я заранее разбирала новый материал. Я приходила на лекцию все зная. Лишь при этом условии, как я скоро поняла, можно было уследить за причудливой мыслью исследователя, за ее скачками и зигзагами, поисками ответа, внезапными озарениями.

Особенно интересен для меня был раздел сравнительного языкознания. Рюрик Григорьевич приводил примеры из всех языков, живых и мертвых, очень много из древнееврейского. Знал ли он, что я еврейка? Вокруг бушевала стихия. Распоясавшиеся студенты громким шепотом обсуждали вчерашний фильм, жевали бутерброды, разгуливали по аудитории. Лекция читалась для меня одной. После лекции он быстро собирал чемоданчик и уходил. Вскоре окружающие стали замечать, что Рюрик Григорьевич смотрит во время лекции только на одного человека. И этот человек, в отличие от прочих, внимательно слушает, кивает головой и даже иногда отвечает на поставленные вопросы.

Как-то ко мне подошла староста группы, работавшая до поступления в деканате и знавшая все про всех. Она поинтересовалась, какие у меня планы насчет Рюрика. Я опешила. – В каком смысле? – В самом прямом, житейском. Если далекие, то надобно тебе знать, что он женат и есть ребенок. А жена работает на нашем же отделении на кафедре общественных наук. Она смотрела на меня с торжеством и сожалением. Думала, наверное, что я очень расстроюсь из-за услышанного. А я рассмеялась. – Спасибо, Люда, за информацию, но я предполагала, что он женат, ему ведь лет тридцать пять, не меньше. Он староват для меня. А языкознание мне нравится просто так.

Она отошла раздосадованная. Не думаю, чтобы ее послала его жена. Скорее всего, сработало любопытство. На нашем женском факультете было мало мужчин.

Весной был экзамен. Многим хулиганствующим бездельников он принес расплату. Они его не сдали. Рюрик Григорьевич внимательно слушал несколько путаных первых фраз и отправлял отвечающего домой. Деканат был недоволен, провалившихся оказалось слишком много, кое-кто из семей неприкасаемых.

Для меня экзамен начался катастрофой. Принимали его двое – Рюрик Григорьевич и некая Сусанна Николаевна, молодая аспирантка с огромной пышной прической. Семинары, которые она проводила в течение года, были для меня мукой. Предмет она знала плохо, скорее всего, была чья-то родственница.

Меня раздражало ее диалектное произношение, фрикативное украинское «г». Праздником были весенние семинары с Рюриком. В комнатке на последнем этаже сидело человек десять, окно было открыто, доносились запахи и шорохи сада. Входил Рюрик. Ставил на стул чемоданчик, разыскивал меня близорукими глазами, улыбался. Я тоже улыбалась и кивала. К этому времени он должен был уже знать мое имя, так как я его несколько раз поздравляла с праздниками – Новым годом, Маем – и подписывалась «Ваша студентка Амалия Хозе». Он садился, называл страницу, мы начинали языковедческий разбор текста.

Конечно же, отвечала в основном я. Думаю, мои сокурсники молились, чтобы я не болела. Он ни разу не назвал меня по имени, только: «Вы, пожалуйста», «А что вы думаете по этому поводу?», «А что если вы не правы?» Я оживлялась, говорила уже без всякого смущения, мозг работал быстро и безошибочно. Мне нравилась эта маленькая комната и то, чем мы занимались; на мне было синее, в первый раз надетое легкое платье, и, кажется, он его заметил и оно ему понравилось. Он задавал вопросы, я отвечала. Звенел звонок, наступала перемена. Студенты и студентки выходили курить. Я стояла у колонны одна. И это было хорошо. После перерыва семинар возобновлялся. Счастье длилось.

И вот экзамен.

Дня за два до экзамена мы должны были сдать учебники с текстами, предназначенными для разбора. По-видимому, сдали их не все. Штук десять учебников я обнаружила в своей

студенческой сумке, сиротливо прислоненной к стене экзаменационной аудитории. Штучки сокурсников. Переполох нарастал. Уже раза два в дверях появлялась разгневанная Сусанна Николаевна, возвещая, что экзамен не начнется, пока все тексты не будут у экзаменаторов. Со слезами на глазах и с тяжелой, набитой учебниками сумкой я вошла в аудиторию. В ней было пусто и тихо. Сидели двое экзаменаторов. Я раскрыла сумку и стала вынимать из нее учебники.

– Ага, – сказала Сусанна, – вот кто, оказывается, у нас этим занимается. Как не стыдно! Я считала вас... – Неужели вы думаете, вы считаете..., – я не могла продолжать, голос мой оборвался, из глаз полились слезы.

Вдруг я услышала смех, его смех. – Да что вы, Сусанна, как вы могли подумать такое на девочку? Студиозусов наших не знаете? – и он подошел ко мне.

– Успокойтесь. Все пустяки. Давайте я вам помогу.

Он стал быстро вытряхивать на стол оставшиеся учебники. Сусанна сидела прикусив язык. Слезы мои высохли, я поглядела на него: – Успокоились? Вот и славно. У него были светлые, с искорками глаза. Они смеялись. Я была уже возле двери, когда до меня донеслось:

– Постойте, вас ведь Эмилия зовут?

Я не ответила, притворила за собой дверь. Экзамен начался.

И опять случилось странное. Мне выпало идти к Сусанне.

Нет, она не увидела меня растерянной, я четко ответила по билету, быстро справилась с практическим заданием, выстроив сложнейшую цепочку корней. Она рассеянно кивала, рассматривая свои отполированные ногти. Когда я кончила, строгим голосом попросила повторить только что сказанное, ей что-то не все понятно.

Я повторила, она попросила уточнить.

Терпение мое было на пределе. Мы обе абсолютно точно знали, что ничего по этому вопросу она не знает, что вообще по всем вопросам я знаю гораздо больше, чем она. И вместе с тем, в этой ситуации она могла спокойно привести меня к неуду, измотав и выведя из себя. В тот момент, когда я, распаренная и взъерошенная, почти кричала ей, что за фонетические процессы, происходившие в санскрите, я не отвечаю, рядом раздался все тот же знакомый смех:

– А за что вы отвечаете, можно узнать?

Он стоял рядом и наблюдал за нашим поединком.

Я выпрямилась, Сусанна помрачнела, хотела что-то сказать, но он ее опередил:

– Сусанна Николаевна, позвольте передать вам этого студиозуса, совсем меня замучил, а эту студенточку, разрешите, я сам проэкзаменую.

И он не оглядываясь пошел к своему столу. Я встала и, не взглянув на Сусанну, пошла за ним. По языкознанию он не задал мне ни одного вопроса, сказал, что ему достаточно моих ответов на семинарах.

– Я вижу, вы увлекаетесь предметом...

Я кивнула.

– Вас Эмилия зовут?

Что-то внутри меня загорелось, и я ответила довольно резко:

– Нет, меня зовут не Эмилия. Постарайтесь запомнить!

– Ого, вы какая – «графиня Эмилия». Знаете, как дальше?

– Знаю, если вы о лермонтовских стихах. Там: «Графиня Эмилия блее, чем лилия. Стройней её талии на свете не встретится, и небо Италии в очах ее светится».

Я остановилась.

Он продолжил:

– Но сердце Эмилии подобно Бастилии. Похоже на вас?

– Нет, не похоже. Я сейчас красная, к тому же, меня зовут не Эмилия.

– А как же?

– Посмотрите на майской открытке.

– Так и не скажете? Тогда я посмотрю в зачетной книжке. Он открыл мою зачетку, вывел в ней первую пятерку, встал. Я тоже встала. Он пожал мне руку и сказал: «Поздравляю вас, Амалия. Если бы вас не было на лекциях и семинарах, я бы не знал, для чего хожу на службу». Эту сцену видели все вокруг и впоследствии раздули из нее бог знает что.

* * *

Пора было возвращаться. Я уже сделала два круга по бульвару. Сейчас около шести. Надо еще немного прибраться перед приходом гостей. Вернувшись, быстро окинула взглядом свое жилище. Две маленькие комнатенки, кухонька, узенький коридорчик, блеклые обои, стандартная мебель, очень много плюшевых зверей: их почему-то дарили ко всем дням рождения. Книжки, книжки, старый проигрыватель на тумбочке возле тахты. Слава богу, перед маминим отъездом мы с ней сделали в квартире генеральную уборку. Вспомнила мамин ворчливый голос: «А то зарастешь без меня грязью». Как ты там, мамочка?

В семь часов пришла одна Кира. Остальные задерживались. Она объяснила, что к ее подруге, тоже русичке, – кстати, это мама Коли, – приехала по обмену учительница из Штатов. Кира и Колина мама язык знали плохо. Решили обратиться к моей помощи, тем более, что гостья изъявила желание познакомиться с одинокой русской учительницей. В добрый час. Против ожидания, я не обнаружила в себе злости. Пусть приходит, пусть вечер пройдет в разговорах. Не дай бог, снова начнутся мысли, страхи... Кира принесла кекс. Я достала чашки, блюдца. Когда со мной мама, гостей принимает она. Я до сих пор плохо знаю, где хранится наш праздничный трофейный сервиз, привезенный отцом из Германии. Так и не нашла; будем пить чай из обычных советских чашек. Кира, между тем, рассказывала новости.

Только что ей позвонила Софа из школы, очень извинялась, умоляла простить, говорила, что ее поведение на педсовете непонятно для нее самой, просто нашло какое-то затмение, иначе не объяснишь. Затем Софа объявила о цели звонка. Не хочет ли Кира вернуться? Дело в том, что ситуация в школе резко изменилась. Похоже, что директора со дня на день снимут, на него скопилось много компрометирующего материала, а рука наверху, вечно его спасающая, сейчас сама вынуждена спасаться.

В школе образовались две враждебные группировки во главе с партийным Виталием и ею, беспартийной активисткой Софой. Оба претендуют на пост директора, но ее, Софу, поддерживают низы, учителя и обслуга, а Виталия – верхи, районные органы образования и выше. Она, Софа, боится как бы не прислали варяга и стремится к консолидации всех низовых общественных сил вокруг ее, Софиной, фигуры. Кира рассказывала важно, пытаясь воспроизвести Софину лексику и интонации. Мы обе посмеялись. Значит, теперь Софа ищет у Киры поддержку. Смешно. А не спросила ли у нее Кира, что такое слышала она, Софа, в коридоре, проходя мимо кабинета литературы. Какую такую крамолу, ведь даже произнести побоялась, поди ж ты! А сейчас обращается за поддержкой, зовет назад. Кого зовет? Кого всего год как официально признали некомпетентным и неквалифицированным педагогом. Ай-яй-яй.

– Вы ей не высказали этого, Кира?

Кира смеется и режет кекс:

– Зачем?

– А что вы будете делать Там?

Лицо ее мрачнеет. Устроюсь где-нибудь... в секретарши пойду...

– С вашим знанием языка?

– Ну, буду дома сидеть, Леничку лелеять, заниматься хозяйством...

– С вашими запросами?

– Чего вы от меня хотите, Амалия? Надо приехать на место, сориентироваться. Там будет видно...

Она быстро смотрит на меня:

– Я вам сразу напишу. И мы устроим вам вызов. Здесь ни в коем случае нельзя оставаться. И не говорите мне про маму.

Подумаешь, восемьдесят лет. Это здесь возраст, а там... Мы еще и ее выдадим замуж.

Кира явно переусердствовала. Покосилась на меня, замолчала. Я спросила, что за американка. Средних лет, одинокая, специалистка по женскому движению. Хочет посмотреть, как живет одинокая российская учительница. Остановилась в гостинице, но не прочь пожить в семье. Колина мать совсем сбилась с ног – ищет продукты и подарки. Вчера американка так у них засиделась, что пришлось ее оставить ночевать. Представляете? Коля спал чуть ли не на полу в комнате родителей, вообще у него нет своего места, бедный парень. Американка смотрит вокруг и на все говорит «террибл» и «фэнтэстик». Представляете?

Я представляла.

Наконец, они пришли. У Колиной родительницы взгляд растерянный, даже затравленный. Едва поздоровавшись, она бросилась к Кире и что-то ей зашептала. Американка была предоставлена мне. Рыженькая с сединой, личико сморщенное, усталое, выглядит очень пожилой, глаза грустные, но все время смеется: «Оу, фэнтэстик». Мой книжный английский диковат для нее, ее американский для меня слишком невнятен и скор, но постепенно мы втягиваемся в разговор. Она путешественница – каждое лето куда-нибудь едет, изъездила почти весь мир. Эта страсть у нее смолоду, со студенческих лет. Училась в Англии, в Оксфорде.

– Ду ю лайк то трэвел?

Я отвечаю, что у меня не было возможности путешествовать, да и характер не подходящий, к тому же, дома мама, больной человек. «Оу», она кивает, у нее тоже есть мама, она в Калифорнии, и отчим, он живет в Канаде. Я тоже киваю, мне немножко не по себе. Американка – ее зовут Джейн – протягивает мне фотографии, красивые, яркие открытки, на них снят с разных точек коттедж, утопающий в цветах и зелени. Здесь она живет. Есть ли у нее машина? О да, сетенли; о, конечно, водит сама, она стопроцентная американка; Джейн улыбается, зубы у нее ровные, крепкие. Но, – она понижает голос, – мои предки вышли из России, с Украины. Они выехали еще до революции. И у меня всегда была тяга к этим местам.

– Ваши предки были русские?

– Ноу, зей а джуиш.

– Значит, вы еврейка?

Она кивает и улыбается.

– Каково быть еврейкой в Америке?

– Оу, есть сложности, но у вас кажется, их больше.

Почему она все время улыбается?

У нее Джейн, прекрасная работа, правда, дети сейчас трудные, некоторые употребляют наркотики, есть сложности и с цветными... Она преподает историю женского движения в Америке, курс придумала сама, выпустила книжку. Порывшись в сумке, протягивает мне красочно оформленную брошюру, я листаю.

Она спрашивает меня о моей работе.

Я отвечаю, что временно ушла из школы и сейчас даю частные уроки. При слове «частные» она оживляется: «Оу, уе, перестройка». В сущности мы друг друга не понимаем. Мы почти не пересекаемся в наших жизнях: у нас не совпадают быт, образ мыслей прошлое. Она изъездила весь свет, ей не страшно путешествовать одной, она, выйдя из дому, не хочет скорее вернуться. Ее мать живет сама по себе, а отчим проживает отдельно и от нее, и от матери. Я не представляю таких отношений. Она приехала в чужую страну, и все ей здесь «террибл», ей странно и страшно, что можно жить, как мы.

Что нас связывает? Общая профессия? Еврейская кровь? Я ловлю на себе ее пристальный взгляд. Она меня разглядывает.

– Вы такая привлекательная, – вдруг говорит она, – почему вы одиноки?

Я теряюсь.

– А что, разве в Америке все привлекательные находят себе пару?

– Оу, нет, но... Я, например, сама предпочла свободу. Мужчина всегда стремится стать господином, а это разрушает любовь, не так ли?

Она ждет ответа. Я молчу.

– Вы не хотите говорить на эту тему? Русские женщины так целомудренны, вас почти не затронула сексуальная революция. Но женщина продолжает у вас оставаться рабой.

Какие чудесные у нее глаза, светло-карие, а кожа загорелая, лицо очень обветренное, видно, не слишком следит за собой. Не для кого?

– Послушайте, Джейн, – я говорю очень медленно, тяну, так как не знаю, стоит ли продолжать, – послушайте, Джейн, я одинока не потому, что не хочу быть рабой или меня никто не берет – были возможности и не одна. Просто... – я с разбега кидаюсь в пропасть, – я любила и люблю одного человека. По-английски это сказалось странно легко. Я перевожу дух, – я не хочу за него замуж, да он и женат. Я просто его люблю. На расстоянии...

Джейн смотрит на меня; лицо ее медленно бледнеет и становится очень серьезным. А я не могу остановиться.

– С этим человеком связана была моя юность, лучшее время в моей жизни, до сих пор я посылаю ему к праздникам открытки – на Новый год и на Первое мая. Он не отвечает. Но мне и не нужно, чтобы он отвечал. Главное, что он есть, что он существует в моей жизни.

Американка берет меня за руку. Мне кажется, еще минута – и у меня разорвется сердце. Кира, с тревогой следящая за нами из своего угла, подбегает и наливает мне воду из чайника. Джейн гладит мои пальцы, глаза у нее удивительно добрые, она чем-то напоминает мою маму. Садимся пить чай. Колина родительница говорит исключительно о том, какие ужасные в Союзе квартирные условия. Ребенок лишен возможности уединиться, послушать музыку, побыть с друзьями, уж не говоря о том, что нельзя как следует принять зарубежных гостей... Я перевожу почти автоматически. Кира делает мне знаки, мол, не переводи, не нужно, я перевожу, не особенно вдумываясь в смысл, какая разница?

Джейн обводит взглядом комнату, подходит к проигрывателю.

– Вы любите музыку? Не хотите закончить вечер музыкой? Мне бы хотелось услышать то, что вы любите. Бетховен? Чайковский?

Я перебираю пластинки. Душа моя просит музыки... Есть один романс. Мы вместе слушали его когда-то по радио, после я долго искала по магазинам пластинку. Откуда эта американка знает, что только музыкой можно снять то состояние, в котором я сейчас нахожусь?

Крутится заезженная пластинка, одно время я заводила ее каждый день. Низкий мужской голос поет о миге счастья. Свиридов. Оказалось, что мы оба любим Свиридова.

Упоительно встать в ранний час
Легкий след на песке увидеть.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.

Голос набирает силу, в нем уже звучат страсть и ликование, и еще что-то, чему нет имени. О, как прекрасно это сказано, как удивительно спето. Я люблю тебя, панна моя! Хочется снова и снова слушать эти звуки – заклинания.

Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная свежесть Кремля

В это утро – как прелесть твоя.

Слова-звуки повторяются и утихают. Звучит нежно-щемящая мелодия аккомпанемента. Все. Джейн замерла, Кира отвернулась и смахивает слезы. Обидно, что американка не слышала волшебных блоковских слов: «Я люблю тебя, панна моя», – за эти слова, обращенные к тебе, можно пойти на казнь. Я хочу передать Джейн содержание романса, но она качает головой. Не нужно, понятно и так. Ей очень понравилось, она запомнит: маэстро Свиридоф. Мы идем в прихожую. Колина мама, до этого вполне безучастно слушавшая музыку, вдруг пробуждается к деятельности и изъявляет желание пойти ловить такси. Все за. Пока Джейн причесывается перед зеркалом, Кира отводит меня в сторону.

– Ты обратила внимание, что Рая не в себе? Рая – это Колина родительница.

– Что-то случилось?

– Еще бы, Колька сбежал из дому, оставил записку, просит никого не винить, паршивец.

Я стою с открытым ртом. Кира объясняет. У них с отцом давняя тяжба из-за комнаты: отец захватил ее себе под кабинет, пишет там что-то, в общем работает; а Кольке, слава богу, шестнадцать уже, ему вроде как и места нет постоянного, он там только ночует, а вчера и оттуда прогнали из-за Джейн. Кира воровато оглядывается, но Джейн продолжает причесываться и подмазываться. Тут еще одно наложилось, – шепчет Кира, – Рая говорит, что Колька стянул у отца со стола какую-то рукопись, был скандал, крик. Юра очень несдержан, ну и... Конечно, он не самоубьется, только пугает, но все равно неприятно, а тут еще американка Рае на голову. Кира опять смотрит на Джейн, та ловит ее взгляд в зеркале и улыбается. Она уже кончила прихорашиваться, черты ожили, почему мне показалось, что она старая и некрасивая? Совсем нет. Очень пикантная, подтянутая мисс, вполне молодого возраста. Джейн подходит прощаться, жмет мне руку и что-то произносит одними губами. Я не понимаю что. Они уходят. Только тут я осознаю, что Джейн сказала: «Ю а хэппи», и глаза у нее при этом были грустные.

Четверг

Ночь. И опять я не сплю. Слишком много впечатлений, и мамы нет рядом. Как ты там, мамочка? Как прошел твой первый день на даче? Не поднялось давление? У Клары Самойловны хороший аппарат, новый. А, в случае чего, Вовка добежит до кирпичного завода, там есть телефон, можно вызвать Скорую. Правда, ночью там может никого не быть, но... хватит, иначе ты из этого не выпутаешься.

Подумай о чем-нибудь другом, вот об учениках подумай; сегодня вечером придет Марина, весьма решительная и способная девица, собирается стать менеджером; а в пятницу, в пятницу – Оксана, ограниченная девочка, и память очень слабая, занимается, чтобы в школе дотянуть до тройки; для тройки не стоит и деньги тратить, я ей сказала: будем работать на четверку, но больно ленива девочка, ленива и не любопытна... как все мы, по словам Александра Сергеевича. Я ведь тоже ужасно ленива и не любопытна.

Статью до сих пор не прочитала. Но тут другое. Боюсь. И какое-то суеверное чувство: не может быть такого совпадения. Я ведь думала о нем все эти дни – перед маминим отъездом. Да, что-то я хотела вспомнить, что-то еще хотела вспомнить об учениках... Оксана... Марина – эта способная, даже очень, и себе на уме, но не то, не то. Ах да, Коля. Коля ушел из дому, оставил прощальную записку. Ужасно. И еще эти рассказы. Мы договорились, что он мне позвонит дня через два и зайдет за ними. Откуда же мне знать, что он тайком взял? И что это еще за отец, что за автор! Прочла перед сном один рассказ. С меня довольно.

Странный какой-то рассказ, с неприятным душком. Исторический? Фантастический? Непонятно. Действие происходит в какой-то средневековой стране, наподобие Испании. Начинается с того, как ночью по спящему городу осторожно крадется человек, держа на поводу

лошадь. На ней что-то навьючено. Признаться, тут мне и читать расхотелось; продолжала по инерции, да и Коле что-то нужно будет сказать... Дальше идет описание города, прямо Толедо настоящий, но без названия. Приходит этот человек в какой-то окраинный квартал на проклятую венту, там как-то по-другому, но похоже, что-то мне сегодня Пушкин вспоминается. Хозяин – а он не спал, видно, ждал гостя, – спрашивает: «Привел?» Тот кивает и выходит во двор, к коню. Потом приносит что-то укутанное покрывалом.

Оказалось, мальчик. Идет описание, очень красивый мальчик подросткового возраста, светлый. А хозяин темный. И что-то зловещее готовит. Тут мне стало совсем не по себе. Я странички две перелестнула. Посмотрела конец. Ага, нагрязнула полиция, да не простая: какие-то люди в белых развевающихся одеждах. Мальчик был спасен, а гость и хозяин сумели скрыться. Белые обнаружили в доме потайной ход, идет описание, и жуткое подземелье, но тут уж я читать больше не стала. Хватит с меня на сон грядущий. И зачем я Колю попросила принести рукопись? Была, была тайная мысль. Хотелось посмотреть, а что еще не печатают. И перегорело вроде бы, год уже как ни строчки не пишу, а все же зудит, зудит...

Здорово они тогда мне нервы потрепали. В итоге – я вся в кровоподтеках, а им ничего – улыбаются. Как будто не они сначала обещали напечатать... и не знаешь даже, кто зарезал... безликая масса, сначала все хором улыбаются, потом хором отворачиваются и смотрят мимо. А, наплевать. Не стоит сердце травить, не стоит, не стоит, нужно сменить пластинку. Срочно. Ох, видно, без лекарств опять не обойдется. Господи ты боже мой!

Джейн, голубушка, тебя бы сейчас в мою шкуру, и я бы тебя спросила: «А ю хэппи?»

Сон был короткий и не имел конца. Я шла по бесконечным коридорам – то светлым, то темным, – я искала маму, но никого не было. В одном из коридоров я столкнулась с незнакомым человеком, он вел на поводу лошадь, и руки у него были в чем-то красном. Я поняла, что это САМОЗВАНЕЦ, что он пришел за нами, и в ужасе отпрянула. В ту же минуту лицо его стало меняться и приняло знакомые черты. Черты Рюрика Рязанцева.

Я проснулась. Звенел звонок. Неодетая, побежала к телефону. Звонила Марина. Сегодня она не сможет прийти и, пожалуй, вообще больше не сможет: уезжает в трудовой лагерь, деньги вышлет почтой. Сразу же после Маринино звонка раздался другой. На этот раз звонила Оксана, она очень извиняется, но завтрашнее занятие придется отменить, она не сумела подготовиться, да и вообще... отметки в школе уже выставили, у нее законная «тройка», а четверок вообще не выставляли – тройки и двойки, сушая правда. Да, лучше бы больше не заниматься, а деньги она завезет как-нибудь на днях. Я чувствовала, с каким облегчением вздохнули на том конце провода, положив трубку. С облегчением вздохнула и я. Мне надоели мои уроки. Весь день была в напряжении, ожидая вечернего визитера. Занятия часто срывались, ученики были не пунктуальны и нерадивы. Бог с ними. Звонки улучшили мое настроение. Но какое странное совпадение – сначала звонит одна, потом одновременно другая. Есть ли в этом какой-то тайный смысл?

Я рассмеялась: надо иметь мой характер, чтобы видеть тайные знаки в случайных совпадениях. Снова вспомнила о сне – понятно, что он отражение моих дневных впечатлений, прочитанного рассказа, слухов о самозванце, собственных мыслей, все это смешалось и создало сей неповторимый компот. Я снова рассмеялась. Сейчас девять часов, я хорошо выспалась, в окно заглядывает солнце, уроков ни сегодня, ни завтра не предвидится. Хорошо. Да здравствует свобода. И маме пойдет на пользу наше временное расставание. Этот год был для нас обоих тяжел, постоянно ссорились, заводились, особенно я, да и мама стала невозможно ворчлива.

Конечно, когда люди изо дня в день из часа в час вместе, совместная жизнь начинает их тяготить. Поживу без маминой опеки. Слава богу, давно взрослая. Вечером можно сходить в кино или в театр, да, да, в театр, ведь есть завлитша знакомая, надо использовать: что у них

сейчас идет хорошее? Ничего не припомню. Но вот это, с таким смешным названием, Кира видела, говорит, очень остро. Хочется ли мне пойти на острое?

По правде, мне вообще никуда не хочется; одеваться, выходить в нужный час из дому, заходить к этой противной особе – завлитше, за билетом, смотреть что-то на потребу дня... не хочу, не пойду. А завлитшу эту в особенности видеть не хочу. Вы написали хорошую пьесу. Seriously. Мне очень понравилось. Да любой театр ее поставит. Что? Наш? А у нас, вы знаете, обязательства. На три года вперед. Увы, увy. Так что наш не может. Режиссеру, вы говорите. А он сейчас в зарубежной поездке, да он и вообще пьес не читает. Как отбирает? Друзья советуют, кое-что за границей видит, перенимает. Молодые авторы? А вот я и работаю, гм, с молодыми. Я же прочла вашу пьесу, и она мне понравилась, чего же вам еще надо? Что? Конечно, заходите, заносите. Как напишете что-нибудь, так и заносите. С удовольствием прочту. И с билетами в театр, если хотите, могу помочь. Так что милости прошу. Гадина, все они гады – и в журнале, и в театре.

Ведь не потому не печатают и не ставят, что не талантливо, а потому что не та нынче конъюнктура. А насчет таланта. Пусть мой дар убог и голос негромок. Но... то, что я пишу, мое, не заемное, этого, кроме меня, никто не напишет. Все до сих пор мною читанное моего не отражает или отражает лишь частично, значит, в человеческой симфонии, создаваемой поколениями, не хватает одного, пусть негромкого звука. И она звучит не в полную силу, эта симфония... Да. Моя жизнь печальна и не примечательна. Но ведь есть кто-то, похожий на меня. Есть и, может, еще будет – в потомстве. Ведь без меня эти люди уйдут неузнанные, неразгаданные, они и сами себя не узнают и не поймут.

Для самопознания им необходимы моя книга, моя пьеса... И когда они, эти люди, прочтут мою книгу, наши души найдут друг друга... и жизнь моя продлится, обретет смысл... Мой дар убог, и голос мой негромок, но я живу, и на земле *мое* кому-нибудь любезно бытие... Господи, неужели этого никогда не будет? Никогда? Никогда?

И чего это я с утра? Опять настроение упало. Вон солнце светит. Двигайся, Малка, двигайся. Оденься, подкрасься, выйди на улицу, ты свободна, можешь делать все что заблагорассудится. Когда еще ты была так свободна, как сейчас? Включи радио. Пусть звучит веселая музыка. Музыки нет. Видимо, только что кончились известия, до меня долетает конец фразы: «... на наших границах с Польшей». И тут же звонит телефон. Это Кира. Она страшным голосом спрашивает: – Вы слышали? – Что? – Только что в известиях передавали, по «Маяку», вы ведь «Маяк» слушаете. – Но в этот раз я пропустила. Что случилось? Кира молчит. Потом медленно произносит: – Я слышала лишь самый конец. Было сказано, что беспокойно на наших границах с Польшей, и потому принято решение о временном закрытии нашей западной границы.

Она плачет. Я не знаю, что сказать. Опять замаячила тень Самозванца. Проклятый сон.

Возможно, этот четверг я запомню как день телефонных звонков. Бывает, что месяцами никто не звонит, а тут... только я расселась пить чай, снова звонок. Незнакомый мужской голос, интонации очень вежливые. Будьте любезны Амалию Исааковну. Это вы? Рад с вами познакомиться. Много слышал... от сына Николая. Тут я поняла, с кем говорю. Пока я соображала, что бы такое сказать, он продолжал. Вы не догадываетесь о причине моего звонка? Что-нибудь с Колей? – только и могла я выдать из себя, представив самое страшное. Но голос был слишком спокоен. Ну, с Николаем у нас, признаться сказать, вечные истории, на днях в очередной раз пустился в бега. Но дело мое касается до вас.

Не догадываетесь?

Может быть, рукопись? – спросила я робко. Голос оживился. Вот-вот. Николай сознался, что рукопись передал вам. Я хотел бы ее получить.

Последняя фраза была сказана тоном решительным, даже угрожающим.

Пожалуйста, если это так срочно, я ведь думала, что Коля взял с разрешения, мне ведь и невдомек было, – я начала путаться в словах, голос перебил. У меня машина, примерно через час я буду у вас; надеюсь, рукопись в полной сохранности.

Я не успела ответить, трубку повесили.

Ничего себе! Он что, предполагает, что здесь заговор? Что я, скажем так, тайная агентка мирового сионизма, а его сын, Коля, стал моим послушным орудием и под влиянием дьявольских козней предал своего отца? А что? Очень похоже. Если судить по рассказу, именно такая чушь и могла прийти в голову этому человеку. И он через час будет здесь. И мне придется с ним разговаривать наедине. Я позвонила Кире и попросила ее срочно приехать.

Конечно, Кира сейчас в плохом состоянии, и голос по телефону у нее прямо больной, но мне больше некого просить... больше некого. В ожидании я стала ходить по комнате. Может, все-таки прочитать статью? У меня полчаса времени до Кириного приезда, успею. Я взяла газету. Медленно, цепляясь глазами за слова, начала читать. Прочла и начала читать снова. Слова до меня не доходили. Только подумалось: как хорошо, что приедет Кира. Осталось до его прихода минут двадцать, не больше, а если на остановке не будет ждать, то и меньше.

Почему мне так нехорошо? Голова кружится и жуткий озноб... Статья? Но что, собственно, в этой статье? Примеры из древнерусской истории, хорошие примеры о хороших людях. Ну и что? Мысль проводится, что благодать выше закона, то есть христианство имеет преимущество перед иудаизмом, так это же не он, это митрополит Иларион говорил, а до него апостол Павел, кстати сказать. Что тебя так напугало? Ведь там нет ни слова об евреях. Признайся, ты ведь ждала чего-то похожего, потому и не хотела читать. Чего ждала, чего? Статья вовсе не антисемитская, не против евреев, в ней просто с одобрением приводятся слова митрополита Илариона, что Новый Завет выше Ветхого, вот и все. С похвалой говорится о русском православии, о праведниках.

Почему ты не можешь поверить, что эту статью, вполне добротную, писал он, Р. Рязанцев? Ну, говори же скорее, формулируй. Не формулируется. Просто, просто он тогда не был религиозным человеком, вернее, ТАКИМ религиозным, ну чтобы говорить о преимуществе православия... он был человеком культуры... это трудно выразить. Мне кажется, он сильно изменился... даже внешне. Возможно, я бы его не узнала...

В экспедиции за песнями у нас было два руководителя – Рюрик Григорьевич и Сусанна Николаевна – на пятерых участников-студентов. Сейчас мне кажется, что Сусанна была послана специально, чтобы следить за нами – за мной и Рюриком Григорьевичем. А впрочем, не знаю. Группа студентов состояла из четырех филологов и меня, студентки с иностранного факультета, все первокурсники. Филологи подобрались веселые. Почти сразу они разбились на пары: Сева – Лариса, Алеша – Вика, и каждую минуту спешили уединиться. Жили мы в крестьянской избе, у бабы Гали, одинокой глухой старухи. С утра обходили одно за другим рязанские села, записывали сохранившийся фольклор, в основном частушки. Села были умирающие, но поездка наша оказалась праздничной: так хорошо нам было всем вместе. Дело портила Сусанна. Так получилось, что третьей парой стали мы с Рюриком, а она пребывала в роли соглядатая и возможного доносителя, роли весьма незавидной.

Вечерами, когда мы с заполненными частушками блокнотами возвращались в бабы Галину избу, у нас начинались танцы. Заводили маг, почему-то одну и ту же латиноамериканскую мелодию. Высокий, красивый Сева танцевал с белокурой Ларисой, приземистый мужичок Лека с томной медлительной Викой, мы с Рюриком Григорьевичем мирно беседовали в углу, рядом читала или что-то писала Сусанна, кидая на нас внезапные быстрые взгляды. Эта мирная картина радовала бабу Галю, и она каждый вечер повторяла одно и то же: «Жениться бы вам, ребята». На что мальчики дружно отвечали: «Мы, баб Галь, не прочь», а девочки фыркали. Много забылось из тех разговоров, запомнилось лишь то, что сказано было наедине, без

Сусаниного присмотра. Такие беседы велись обычно по дороге, мы с Рюриком Григорьевичем вырывались вперед, и Сусанна догоняла нас только минут через пятнадцать. Общение наше однако началось не сразу.

Первые дни я дичилась. Я думала, что Рюрик Григорьевич объединится с Сусанной и я останусь совсем одна – филологи были заняты исключительно друг другом, на меня не обращали внимания, словно я стол или тарелка. Их тесная группа всегда была вместе, всегда позади, подальше от взглядов руководителей. Рюрик Григорьевич никак не реагировал на их вольное поведение, иногда, отводя глаза, замечал, что ввиду деревни, следует разомкнуть объятия. Сусанна же поднимала ужасный крик, орала, что не потерпит безнравственности, что родителям будет сообщено, что пошлет девочек на обследование и другие гадости, чем достигала противоположного: девчонки нагтели в ее присутствии и стремились казаться более развращенными, чем были.

Позже Сусанна стала вести себя потише, и девчонки перестали выпендриваться; вообще они не были так безнравственны, как хотела представить Сусанна. Обыкновенные милые, немного взбалмошные девчата, слегка ошалевшие от свалившегося на них мальчишечьего внимания. Здесь было больше нежности, чем распущенности. Рюрик это понимал, Сусанна – нет.

Помню, в самом начале нашего путешествия, когда мы отправились из нашей родной Ивановки в дальнее Коготково, так получилось, что я сильно обогнала остальных. Обогнала, потому что некуда было приткнуться: четверка шла сзади, Рюрик Григорьевич с Сусанной, о чем-то своим беседуя, впереди, ну, я и дернула. Шла и повторяла про себя: утоплюсь, утоплюсь, утоплюсь.

И вдруг сзади Сусанин голос: «Амалия, вернитесь!» Я приостановилась. Они меня догнали, Сусанна, мне казалось, смотрела с ненавистью.

– Что случилось, Сусанна Николаевна? Почему вы меня позвали? – я говорила ни на кого не глядя, на нее – не хотела, на него – боялась.

– Тебе не понятно? В походе так не бегают, выдохнешься – что прикажешь с тобой делать? На себе нести?

И опять его спасительный смех: «Подумаешь, тяжесть – она ж вон какая маленькая», и он легонько приподнял меня над землей. Одно мгновение. Его руки на моей талии, лицо, смеющиеся серые глаза, совсем рядом, внизу. Четверка довольно хохочет, Сусанна корчит гримасу, я вырываюсь и бегу вперед, бегу, бегу. Он меня догоняет, просит прощения.

Получилось случайно, в ответ на реплику Сусанны Николаевны, больше, он дает слово, не повторится. Идет? Я киваю. Сусанна осталась сзади, раздосадованная, злая. Мы летим впереди – беседуем. Он спрашивает, есть ли во мне испанская кровь... Я отвечаю, что возможно, ведь мои предки были испанские евреи. Слежу за его лицом, оно не меняет выражения. Обычно при встрече с незнакомыми я сразу говорю о своей национальности, многие тотчас отходят, кое-кто теряет способность нормально общаться. Рюрик Григорьевич невозмутим. Мало того, он начинает мне рассказывать об испанских евреях. Оказывается, он вообще интересуется еврейской темой. Нет, нет, он русский. Но, живя в России и занимаясь изучением древних текстов, трудно пройти мимо этой темы. Тут нас нагоняет Сусанна, потная и злая. Разговор наш мгновенно прерывается, весь остальной путь мы совершаем в молчании. Про себя я весь путь твержу: Рю-Рик, Рю-рик, Рю-рик...

Просыпаться на рассвете, потому что радость душит – сказано про меня. Я прямо излучаю радость. Вчера вечером мы побывали в небольшом городишке с древней историей – Скопине, зашли в местную книжную лавку и – о счастье – прямо на прилавке лежала маленькая книжечка в белой глянцево-обложке, украшенной стилизованным готическим рыцарем – сборник испанских романсов. Совпадения в моей судьбе!

Книжку купили все члены нашей экспедиции, но вряд ли кто-нибудь – разве что Сусанна – заметил, какими взглядами мы обменялись с Рюриком Григорьевичем. Мы были как два заговорщика, едва не попавшихся на своей тайне. Я приступила к чтению сразу же, как только мы вошли в избу бабы Гали. Звучала латиноамериканская мелодия, Сева обнимал Ларису, Вика жалась к Леке, Сусанна что-то писала за столом, Рюрик Григорьевич пил чай, баба Галя наслаждалась мирной картиной человеческого счастья. А я читала.

Было впечатление, что жизнь, описанная этими прекрасными стихами, мне знакома, я ее узнавала, впитывала ее всем существом. Какая щемящая тоска в этих строчках, какое горькое и безудержное веселье, как горды и нежны героини этих печальных романсов... И... как мы похожи... Рюрик Григорьевич пил чай и временами взглядывал на меня. Я чувствовала его взгляд, он бил по мне, как молния, как электрический разряд. Я не поднимала головы. Покончив с чаем, он подошел ко мне, шепотом спросил, какой романс так меня увлек.

– Все.

– А особенно?

Я сказала. Это был поразительный романс, навеянный мавританским завоеванием, он назывался «Поля оливы». Рюрик Григорьевич взял у меня книгу, стал читать. Музыка внезапно прекратилась, четверка шумно усаживалась за стол, Сусанна перестала писать и пристально наблюдала за мною и Рюриком Григорьевичем, баба Галя, кряхтя, полезла на печь.

Какая сила у поэзии! Днем мы записывали незамысловатые частушки, сохранившиеся в памяти здешних старожил; среди них была и та, которую я несу с собой через всю жизнь.

А не все по горю плакать,
А не все по нем тужить,
Хотя бы маленьку печалинку
На радость положить.

Через всю жизнь я несу и испанский романс, узнанный мною вечером того же дня в рязанской деревне.

Перед сном – а спали мы на полу, заняв все оставленное печью пространство маленькой комнатки с низким потолком, – я вышла на воздух. Стояла, смотрела на звезды, голова была бездумна, в душе звучала мелодия. Я повторяла про себя строки романса.

В Пасху это было, в первый день недели,
На поля Оливы мавры налетели
Ай, поля Оливы, ай, просторы Граны,
Полонили мавры христиан немало,
Юная инфанта к маврам в плен попала.

Почти неслышно отворилась дверь. Я не обернулась. Я знала, что это он. Мы стояли молча. Вдруг он спросил: «Как вы думаете, Амалия, где в этом романсе кульминация?». Он протянул мне книгу. Я указала место, головы наши почти соприкасались, сердце мое билось учащенно и гулко. Он нараспев прочел: «На мече клянусь я – остром, золоченом. Буду тебе братом, братом нареченным».

Он оторвал глаза от книги, взгляды наши встретились. Он хотел что-то сказать, потом раздумал. Мне кажется, я поняла, что он хотел сказать. А потом на крыльцо выглянула Сусанна.

Следующие дни проходили в разговорах; ничего более увлекательного не было в моей жизни. Мы обменивались мнениями о писателях, поэтах, спорили, выясняли вкусы друг друга,

радовались, когда оказывалось, что они сходятся. Сусанна глядела на нас как на сумасшедших, и в чем-то была права. В ее присутствии дух спора отлетал, мы замолкали. Я старалась не реагировать на ее бесконечные замечания, Рюрик Григорьевич отпускал на ее счет иронические колкости. Мне было даже немножко жаль Сусанну, она находилась в том положении, в каком, по всем правилам, должна была оказаться я. Жизнь случайно поменяла нас местами.

Мы оба – я и Рюрик Григорьевич – любили Лермонтова. Маршрут нашей экспедиции пролег через бесконечную равнину, изрезанную холмами и оврагами. Нещадно жгло солнце, до пункта назначения – заброшенной деревеньки – оставалось еще километров семь. Мы с Рюриком Григорьевичем шли как всегда впереди, разморенная четверка еле-еле плелась за нами, Сусанна, беспокойно оглядываясь на отстающих, спешила нас нагнать. Жар нарастал, и почти одновременно нам пришли на память лермонтовские строки:

В полдневный жар в долине Дагестана
С свинцом в груди лежал недвижим я,
Глубокая еще дымилась рана,
По капле кровь точилась моя.

Заговорили о провидческом даре Лермонтова, он точно описал картину своей смерти. Я была уверена, что, когда Лермонтов, писал «Сон», он пережил свою гибель, все ее жуткие физические муки. Рюрик Григорьевич согласился, его увлекала в стихотворении трактовка смерти как сна. Герой спит мертвым сном и видит сон из своей прошлой земной жизни, два мира – тот и этот – слились воедино, переплелись; поэтому и слово «труп» в применении к герою оправдано и не режет уха. Я поразились, как совпали мы в мысли о лермонтовском двомирии, обрадовалась, вспомнив казачку из «Даров Терека».

В это время подошла Сусанна. Разгорячившись, я не сразу замолчала. Прервал мою сбивчивую речь голос Сусанны: «Послушай, умерь свой восточный темперамент, и так жарко». Я осеклась на полуслове, я получила оплеуху и ждала, что *он* меня защитит. Но он промолчал.

Тогда он промолчал, а сейчас написал статью о произведении, в котором провозглашается преимущество христианства над иудаизмом, есть связь? И вообще, что меня задело? Я что – иудаизм исповедую, что ли? Да я сама тысячу раз ужасалась, как много в иудейской религии предписаний, нудных обрядов, регламентации.

Всю жизнь боялась заглянуть в синагогу; по слухам, для женщин там особые места; но тут другое. Тот Рюрик Григорьевич, с которым я столкнулась много лет назад, не писал бы статей на такую тему... И все же, почему он тогда ничего не ответил Сусанне? Не съязвил, не сыронизировал, даже не взглянул на меня, мол, не робей: что с дуры взять? Он промолчал. Какая чепуха лезет в голову. Ну, промолчал и промолчал, ничего особенного. Слышишь, ничего особенного. Не хватало еще, чтобы ты... А вот и Кира, двадцать минут добиралась, значит, троллейбус сразу пришел, повезло.

У Киры как всегда были новости. Выходя из дому, в почтовом ящике она обнаружила два послания. Первое – незапечатанная повестка из школы.

Приглашение на расширенный педагогический совет, посвященный проблеме гуманизации школы. Подписано Борисом Львовичем Розенблюмом. Стало быть, он еще на месте.

Я вспомнила, что вчера с газетами принесла какой-то листок, порылась в бумажной горке на столе, ну да, вот оно, меня тоже приглашали на расширенный педагогический совет. Подпись Розенблюма на обоих приглашениях была совершенно идентичной и ни о чем не говорила.

Зачем мы ему понадобились? Какой еще педсовет? Учебный год кончился, мы с Кирой ровно год, как оставили службу. Внизу было написано: сбор в 15 часов. Что там еще за гуманизация? Впрочем, мне не интересно. Кира, однако, сказала, что хотела бы пойти, из любопыт-

ства. Второе послание было в запечатанном конверте без обратного адреса. На листе бумаги всего одна печатная строчка: Жиды, вон из России! Подписи не было.

Внизу листа стояла небольшая буква С. Я сразу подставила: Самозванец. Кира была возбуждена. Она потрясала большим листом с крошечной строчкой на нем: «Вы видите, у них на это есть бумага, на это они и за валюту купят, а на книги, на журналы... Как вы можете здесь оставаться?» Ее Боря уже месяц не работал, они распродавали мебель, лишние вещи и книги. Теперь новое горе – говорят, что закрыли границы, но, возможно, это только слухи. Во всяком случае, Кира слышала как «Маяк» передал опровержение.

Боря однако решил съездить в Американское посольство, посмотреть, что там делается. Звонил оттуда полчаса назад. Там жуткое столпотворение. Может, все-таки не слухи? Я с трудом увела Киру от этой темы. Рассказала о предстоящем визите Колиного отца. Она удивилась, что рукопись у меня. Рая ей уши прожужжала про какую-то рукопись, которую Коля стащил у отца со стола. Значит, это он для вас утащил? Она смотрела с прищуром. Господи, не хватало еще, чтобы Кира заподозрила здесь мелодраматическую историю: совращение младенца. Кира почему-то считает меня искусительницей, подозревает, что я от нее скрываю свои похождения.

– Так, значит, рукопись у вас... Опять она оглядывает меня с любопытством. – А Коля, между прочим, дома не ночевал... Рая попеременно звонит то в милицию, то в морг, то в музей.

– В музей?

– Ну да, на ней же американка. Они договорились пойти в музей. Там как раз сейчас выставка Т. Невозможная очередь. Но, кажется, все устроится, Юрка помог. Он бывает и человеком, когда на свою тему не сворачивает. Тогда совершенным психом становится. И рассказы, наверное, сумасшедшие, да?

– В его сумасшествии есть своя логика. Странно, что он поручил обучать своего сына нам с тобой.

– Ну да, он из этих. Но в Рае нет этого в помине, ни намек. Что ее объединяет с Юркой? – Кира крутит возле виска, – софист доморощенный... Кстати, нас с тобой не он нанимал, а Рая. И, думаю, не без домашнего скандала. Ты ее не знаешь, чудесная русская баба, простая, добрая очень. Мы с ней учились вместе, а Юрка учился на матфаке, считался прогрессистом, это он потом сбрендил на русской идее. У них ранний брак и ранний сын. Бедный Коля! Рая говорит, что если с ним что-нибудь случится, она покончит с собой. Хороша ситуация?

Я спрашиваю, надо ли чем-нибудь помочь.

– А чем поможешь? Он у них второй раз убегает. Первый раз вернулся сам через неделю. Сейчас пока только день прошел. Почему окно закрыто?

Кира подходит к окну и распахивает его, в комнату врывается шум и чад магистрали. Несколько мгновений мы вдыхаем запахи городского центра, потом я говорю умоляюще: «Кира, пожалуйста», и она закрывает, закрывает окно, оставив только форточку. У нас у обеих кислородное голодание, и нет от него спасения... Может, в своей Америке Кира спасется... не знаю...

Тяжелый какой день. А начался неплохо. Солнышко светило. Солнце и сейчас бьет, надо штору задвинуть, пять часов – самый жар в моей комнате. Кира уже, наверное, вернулась с расширенного педсовета. Или еще не вернулась, там любят долго заседать. Педагоги, учителя. Я, наверное, действительно зря пошла в школу. И, надо признать, хоть и неприятен мне этот человек, но в чем-то он прав. Я никакой не педагог. Изначально, по своей нервной организации. Во всем сомневаюсь, мучаюсь, вечно в размышлениях. Он прав, прав. И Коле зря дала почитать, зачем дала? Почему Коле?

Теперь сама не объясню. Проклятая импульсивность, а педагог должен быть рассудителен. Помнишь, нам на семинаре по педагогике читали из книжки, каким должен быть педагог, на первом курсе, кажется. Тебе бы уже тогда, дурехе, понять, что ты не подходишь, что ты не

для этой работы. Справедливый, добрый, рассудительный – это все не про тебя... а про кого? Про Розенблюма? Софу? Виталия?

Не отвлекайся. Речь идет о тебе, только о тебе. Тебе эта работа явно противопоказана. Ты ведь даже не знаешь, справедливая ты или нет, добрая или нет. Скорее всего, и не справедливая, и не добрая. Да, временами такая злость внутри, такая... и ощущение жуткой бессмысленности всего... человечество выдумало себе бирюльки – детский сад, школа, институт, потом работа. А зачем, к чему эти игры? Только чтобы структурировать время человеческой жизни, ведь так? Чем-то занять руки и мозг, отвлечь от главного вопроса – зачем? Фу, опять ты за свое. Просто наваждение. И еще Колин отец добавил. Как его зовут? Юрий. А отчество не знаю. И он не сказал. Ведь он даже не представился. Вошел не вошел – вбежал – маленький, юркий, похожий на клоуна с грустным лицом.

Папочку, которую я ему протягивала, быстро в кейс спрятал и только тогда на меня поглядел. И улыбнулся – улыбка кривая. – А ведь я вас такой и представлял – молодой, обаятельный... ну это он напрасно, меня на комплименты не поймаешь.

Так мы и стояли в прихожей, я его не приглашала в комнату. Пришлось ему самому сказать, что есть разговор. Я спросила: «О Коле?» Он кивнул: «И о нем!»

Зачем ему этот разговор нужен был? Чтобы нервы свои успокоить за счет другого? Вот так придешь к человеку и скажешь: ты не на своем месте, не имеешь права работать педагогом. А кто имеет? Да, но в начале он меня поразил, прямо по голове бахнул.

Из своего кейсика вытащил мою тетрадку, ту, которую я Коле давала. Я прямо обомлела. А он: «Ваше сочинение?» А у меня из горла слова не идут. Значит, Коля, значит... Он смотрит на меня, опять криво улыбается: «Ну чего вы так? Вам ведь Коля мое читать приносил, стянул со стола и принес, а вот ваше сочинение с трудом я у него извлек. Повозиться пришлось».

– Вы, вы били его... пытали? Сказала и сама испугалась, почему это слово вырвалось: пытали.

Он, кажется, не удивился.

– Да нет, припугнул малость и все. Ему ведь шестнадцать уже, можно и в милицию попасть за воровство и прочие отличные поступки. А вот, кстати, я ведь и предполагал, что вы в ихней психологии ни черта не смыслите. Да разве современного юнца пытать надо, чтобы он отца родного заложил? Мать продал? А уж что о других прочих...

Я сидела, он бегал вокруг меня и говорил, говорил. Маленький, быстрый, с полуседыми вьющимися волосами, с лицом осужденного на казнь арлекина.

Трудно сказать, какой он национальности, может быть и евреем, и русским, и цыганом, и татаринном. Причудливый человек... вот тут он мне и выдал: «Я, собственно, для чего пришел, я к вам как посланец пришел. Нельзя вам педагогикой заниматься, не ваше это дело. И вообще детей не трожьте, оставьте в покое *наших* детей», слово наших он выделил. Он остановился, видно, ждал, что я начну возражать, но я с бьющимся сердцем ждала продолжения. Не дождавшись от меня возражений, он еще больше воодушевился. Теперь он стоял прямо передо мной. – Что вы дали ему читать, вы сами-то понимаете? Это же отравка, яд, это же разлагает душу. Повесть на школьную тему. Голос с другой стороны баррикад... зачем ему знать, что у учителя болит сердце, что у него неладно с нервами и не сложилась личная жизнь, а? Вы для него должны быть вне досягаемости, вне критики, вы солнцем должны светить для него... и вдруг слезы, сопли, болезни, жалобы. Учитель – он должен вести за собой. Не искушать сомнением юные умы, а твердо знать, куда идти и где дорога.

Мне стало больно от его красноречия. Я закрыла глаза. Минут пять я сидела, полностью отключившись. Вдруг мне показалось, что в его словах забрезжило что-то новое, я вслушалась:

– ... Мало того, что вы отравили его ядом своей повести, вы заставили его совершить святотатственный, кощунственный поступок – только так я могу квалифицировать то, что вы сделали. Имя его девочки, его первой девочки – зачем вам было знать это имя? Сын рассказал

мне про какие-то стихи на английском, про какие-то песни, которые он якобы сочинял под вашим руководством. Бог с ней, с вашей методикой, нужны стихи для овладения английским, пусть будут, здесь я умолкаю, но девчонка-то, девчонка-то здесь при чем? Понимаете ли вы, на какое святая святых покушаетесь?

Это был уже перебор. Он, возможно, сам это почувствовал, кашлянул, сел в кресло.

Я по-прежнему молчала. Мне хотелось одного, чтобы он поскорее ушел, ужасно болела голова, ныло сердце, жить не хотелось. Значит, Коля и это ему рассказал. А имя девчонки я узнала случайно.

Коля искал рифму для слова «лиси», я сказала что хорошая рифма «Алиса», он просиял, оказалось, что так зовут его подружку. Ужасное кощунство с моей стороны! А повесть зря дала, зря. Почему он не уходит? Как бы Кира не задохнулась в маминой комнатухе, форточку там забыли открыть. В этот момент из маминой комнаты раздалось чиханье. Мы с Колиным отцом одновременно взглянули друг на друга. С криком «так я и знал» он подбежал к занавеске и раскрыл ее. Слава богу, он не был вооружен, иначе Кире бы не избежать участи отца Офелии.

В следующую минуту в комнату со смехом впорхнула Кира. Колин отец с недоумением смотрел то на меня, то на нее. Видно, он ожидал, что в засаде сидит какой-нибудь агент с пейсами...

Придя в себя, Колин отец пошел навстречу Кире с распростертыми объятиями: «А вот и Кира, сколько зим, сколько лет, привет тебе от Раи. Кто бы мог подумать, что ты тут... за занавеской». Положение было неловкое. Нашлась Кира. Она спросила, на машине ли он и сможет ли подбросить ее к школе. Они вышли вместе. Перед уходом Кира подошла ко мне: «Оказывается, вы, Амалия, развращаете отроков» и погрозила мне пальцем. Она все перетолковывает по-своему, эта Кира. Во всем ей видится любовь.

Была она в моей жизни? Можно назвать любовью то, что было в моей жизни? Со стороны мы могли восприниматься как влюбленные. Жене, конечно, донесли; скорее всего, Сусанна и донесла. Помню, в начале осени мы сидели в ожидании лекции, лектор не то заболел, не то опаздывал, в аудиторию заглянула какая-то женщина, в больших темных очках, она кого-то искала, внимательно оглядывала всех присутствующих. За ее спиной стояла Сусанна. Наконец, она нашла. Я поняла, что она смотрит на меня. Хотя не могла поймать ее взгляда, спрятанного за очками. Она стала медленно, словно сомнамбула, приближаться к месту, где я сидела.

Подошла почти вплотную ко мне и так стояла несколько мгновений. Потом, ни слова не сказав, пошла к двери. Из дверей на меня глядела улыбающаяся Сусанна.

Та осень была для меня ужасной. В конце сентября в больнице умер папа. Целый месяц я почти не посещала занятий. Мама бесшумно находилась в больнице, я возила туда еду и лекарства. Папу положили с инфарктом, но умер он от воспаления легких, простудившись на вечных больничных сквозняках.

В начале октября я пришла в институт, бледная, больная. Ловила на себе любопытные и сочувственные взгляды. Староста группы, Люда, с видом заговорщицы сообщила, что Рюрик Григорьевич ушел с кафедры языкознания на кафедру древнерусской литературы, что жена его недавно выписалась из психбольницы, куда попала из-за попытки отравиться, и что его все осуждают. За что осуждают, она не сказала. В тот же день в коридоре на меня налетела Сусанна; «Послушай, ты новость слышала?»

Я ждала, что она скажет про Рюрика Григорьевича, но ошиблась.

– Наша-то четверка расписалась, зарегистрировала брак в ЗАГСе, а затем повенчалась в церкви. В глазах у Сусанны плясали черти. Новость меня не удивила. Они и должны были пожениться, еще баба Галя говорила: «Вам бы жениться», а мальчишки отвечали: «Мы не прочь – как девчата». Но главное Сусанна приберегла напоследок. Оказывается, они поменялись парами. Сева женился не на светловолосой Ларисе, а на томной Вике, а Лека, соответственно, на светловолосой Ларисе, а не на томной Вике.

– Кошмар, правда? – Сусанна тряхнула высокой прической. – Хотя что ж? Я это предвидела.

И она возобновила свой бег по коридору.

Кафедра древнерусской литературы находилась в другом здании, и с Рюриком Григорьевичем мы уже не виделись. Лекций он у нас не читал. В тот год на Седьмое ноября я послала ему открытку. Написала, что никогда не забуду нашей прекрасной поездки, общения с ним. В моей памяти переплелись деревенские частушки, стихи Лермонтова и испанские романсы, и, если б не эти воспоминания, даже не знаю, как бы я пережила обрушившееся на меня горе. Целый месяц я ждала, что он откликнется. Ведь я пишу, что мне тяжело, у меня горе, разве можно не ответить, уже хотя бы поэтому. Но ответа не было. Чего я только не передумала тогда: мне все пригрезилось, не было никакого общения, родства душ и прочего. Все это плод моего больного воображения. Одновременно мне приходило в голову, что во всем виновата его жена, что он не отвечает, боясь ее ревности. А, может, она перехватила открытку, вскрыла конверт, прочитала мое послание и скрыла от него? Все эти версии жгли, как угли.

Я плохо спала, мучилась, томилась. Днем ходила с отрешенным лицом. Именно тогда началась моя дистония; мама, перепуганная, водила меня к платным специалистам, те прописывали соблюдать режим и гулять перед сном. А всего-то было нужно – получить письмо или открытку от одного человека. От Рюрика. Рю-рик – Рю-рик. А потом, потом меня внезапно осенило.

Чего я хочу? Он живет там, я здесь.

Он живет там, я здесь. Вроде бы наши жизни не пересекаются. Но это не так. Не так это. Это как у Лермонтова в стихотворении «Сон». Там герой и героиня отделены друг от друга не только горами и лесами, но даже смертью, и все равно они вместе, и души их говорят друг с другом. И я успокоилась.

И больше мы не встречались. Нет, была еще встреча. Через два года. У книжного магазина на Тверской.

Пять часов десять минут. Надо вставать с дивана, хватит валяться. Встать, задернуть шторы, поставить чайник. Мама тоже сейчас пьет чай. Думает обо мне, беспокоится. Рассказывает Кларе, какая я непрактичная, дикая, как всему меня надо учить. Или нет, Кларе она говорит, как ей повезло со мной – любящая, заботливая, а счастья нет. И ведь не то чтобы дурнушка, совсем напротив, но верно говорят: не родись красивой, родись счастливой, и ведь были молодые люди, были, вон сосед с третьего этажа, тоже одинокий, с отцом жил, вид очень интеллигентный, он Малочке предложение делал, и еще было, да ты знаешь, Левка за ней со школьных лет ходил, теперь-то он далеко, давно женат, небось, и дети, нет, не пишет, а чего ты хочешь? Она ему грубо так сказала: не люблю, люблю другого. Конечно, обиделся, а у Малочки нет ума, разве можно так говорить? Скажи: я еще подумаю или пока не решила, а она... Любит кого? А я знаю? Нет, не говорила. Нет, и разговора не было.

Я пару раз начинала, а она как каменная становилась. Я, правда, стороной слышала, у нас староста как-то была с Малочкиного курса, она говорит, преподаватель, старше ее значительно и женатый, жена психическая. Может, соврала, откуда мне знать? А Малочка мне ни словечка... все про себя держит, потому и здоровья нет, верно, все от нервов, чудесное варенье, Клара, душистая какая клубника, язык проглотишь...

Да, а у меня домашнее варенье кончилось, надо бы купить в магазине яблочное повидло, буду мазать на хлеб. А сейчас попью чай с сахаром в прикуску, как в детстве. И хлеб еще остался, вот и хорошо. Чаек попью. Штору задернула, в комнате полумрак, на столе чайник, чашка, хлеб, сахар. Что еще нужно человеку! Почему болит душа, никак не успокоится? Чего ей не хватает? Уж не жду от жизни ничего я, и не жаль мне прошлого ничуть. А ведь тогда зимой, два года спустя, мы снова о Лермонтове говорили, как быстро он созрел. Помню, он ска-

зал, что если переложить один лермонтовский год на обычную человеческую жизнь, то получится десять лет. Я поразилась, как будто про меня сказано, про мою жизнь. А встретились мы на улице Горького, возле книжного магазина. Он меня первый увидел и окликнул. И мы пошли в магазин вместе, потом обошли все книжные ближних окрестностей, так ничего хорошего и не купили. Нет, я купила маленький томик Баратынского, детское издание.

О Баратынском тоже говорили, как всю жизнь был разочарован, не верил в счастье, а перед самым концом – поверил, когда поехал с семьей в Италию: написал «завтра увижу Элизию земной» – и буквально через несколько месяцев после этого умер.

День был морозный и яркий. Шли мы быстро, словно за нами гнались. Он поглядывал на мою вязаную шапочку с детским помпоном и улыбался... я тоже улыбалась, неизвестно чему. Мы встретились словно и не расставались никогда, и так много нужно было рассказать друг другу.

За эти два года он защитил докторскую, написал кучу статей. Древнерусская и классическая литература, славянский и древние языки, тюркизмы в «Слове о полку Игореве», вклад еврейской интеллигенции в русскую культуру – все его волновало, обо всем он говорил увлеченно, с блеском в глазах.

У него глаза такие... Серые, становящиеся внезапно светло-голубыми, озорными, с искорками. Устав бродить, мы пошли в метро и сидели там на скамейке несколько часов. И тут он сказал совершенно неожиданно и некстати, что сына никогда не оставит. Разговор шел о чем-то совсем другом, сугубо научном, и вдруг... Я подняла глаза. Он не смотрел на меня. Мне показалось, что я ослышалась. Но пауза затягивалась. Он чего-то ждал. Чего? Я первая посмотрела на часы, ужаснулась, ой, мама волнуется, и мы простились. И с тех пор не встречались. А на открытки мои он не отвечал.

Звонок раздался, когда я поднялась, чтобы вынести чашку на кухню. Почему-то у меня дрогнуло сердце.

– Я слушаю.

В трубке раздавалось какое-то бульканье, потом, смех, потом тоненький, явно измененный голосок пропищал: «Вам приветик». И снова смех, где-то далеко, на том конце, и еще звучала музыка.

Приветик от кого?

– От одного мальчика... хорошего.

Опять смех и бульканье. Льют из бутылки?

– Послушайте, вас Алиса зовут, да?

На том конце провода взрыв веселья.

– О, ты догадлива. Положим, Алиса, что дальше?

– Алиса, вы не дадите трубку мальчику, ну тому, от кого приветик.

– Ишь чего захотела!

– Какие ужасные уличные интонации.

Я продолжаю:

– Передай, пожалуйста, Коле пусть возвращается. Можно пожить и у меня, мама на даче.

– Ишь чего захотела!

Дальше следует ругательство. Я вешаю трубку. Через минуту снова звонок. Тот же голосок с визгливым смехом спрашивает: «Так вам Колю? Колю, значит, хотите? Вот вам ваш Коля».

И молчание в трубке. Скорее, скорее, нужно ему сказать, нужно сказать.

– Коля, ко мне отец твой приходил. Он принес повесть. Может, ты переживаешь из-за этого, что рассказал все отцу, что повесть показал; так ты не переживай. Я уже простила, он,

наверное, здорово тебя мучил, я все понимаю. Что-то не то я говорю, совсем не то, я замолкаю, и вдруг из трубки в меня стреляет чужой жесткий голос.

– Ах, ты понимаешь? Да видно не все. Главное пойми: вам, жидам, нужно скорее убираться в Израиль.

Трубка падает из моих рук. Неужели это Колин голос? Нет, не может быть. Это шутка. Телефон снова звонит. Я смотрю на него как на зверя, я не беру трубку. Минут пять он звонит не умолкая. Я стою закрыв уши руками. Это не Коля, не Коля. Совсем чужой злобный голос. И девчонка вовсе не Алиса. Случайное совпадение, а, вернее, просто назвалась так. Это розыгрыш, шутка. Мне казалось, что Коля позвонит, вот я и попалась. Конечно, не Коля. А вдруг... Что ему могло не понравиться в моей повести? Может, он решил, что герой – это он. Так нет же, я ведь его даже не знала тогда, Колю. И героя своего я все равно люблю, хоть в нем всего намешано... я его с себя списывала, с себя, Коля, вовсе не с тебя, дурачок ты. Неужели ты так меня понял превратно? Или когда про отца говорила, тебя задело, что, мол, ты, хоть и под пытками, но сломался, сломался все же. Так? Ты ведь самолюбивый мальчик, гордый. Неужели так? Ты пьяный, наверное, вот что. Тебя напоили. И откуда она звонила, эта Алиса? Из притона какого-нибудь, там и распивают и колются. Тебя там на ночь приютили, напоили, одурманили, так? Ведь иначе никак не получается, ведь иначе нельзя жить, тогда я просто не знаю, что с собой делать, Коля. Нет, не может быть. Это не ты. Это хулиганы. Шутка. Как та записка, которую Кира получила.

Там еще внизу буква С значилась. Вот и мне кто-то из той компании. Самозванец... какой-нибудь. Это не Коля, не Коля. А голос внутри нудно и вязко шепчет: «Это Коля». Нет, в комнате находиться больше нельзя. Воздуху не хватает. Ощущение, что ты рыба, выброшенная на песок, и еще потолок давит и стены. Нестерпимо бывает в четырех стенах, прямо как в палате № 6. Выбежала на улицу, глотнула уличного воздуха, чуть полегчало. Все было мокро вокруг, видно, успел пройти дождик. Солнце светило уж не так ярко, веяло холодком. Совершенно автоматически прошла несколько остановок. Троллейбусы почему-то не ходили. Ноги сами вели меня к Кире. Мозг отключился, внутри сидела только одна мысль – какая чудесная погода!

С Кирой мы столкнулись во дворе ее дома: она вела Леничку за руку из детского сада. Мордочка малыша была перемазана, костюмчик в пятнах, коленки в болячках. Он кричал на весь двор: «Меня Сележка плибил, плюклятый, говорит я уклал его веделко, а я не уклывал, не уклывал». Кира его успокаивала. Увидев меня, Леничка забыл про свою обиду: «Тетя Мала, ты что мне принесла?» Ужасно, не было у меня ничего для малыша. Леничка отвернулся, а я чуть не заплакала. Порылась в карманах, нашла копеечку, протянула Леничке. Он просиял: «Спасибо, тетя Мала», стал что-то приговаривать над денежкой, весь переключился на игру. Увози, Кира, свое сокровище. Ради такого мальчика стоит перечеркнуть свою жизнь, стоит жить среди чужих, потерять язык и родину, нормальное общение. Зато ОН будет среди своих, и язык для него не будет чужим, и найдет он себе друзей, и никто, никто из них не скажет ему: «Убирайся отсюда, чужак». По дороге Кира рассказывала про педсовет.

Оказывается, Розенблум не только уцелел, но процветает. Он нашел поддержку у органов образования, которым всегда нравилась его педагогика сотрудничества. Опыт Розенблума было решено распространить. Помогло ему и то, что важное лицо, его поддерживающее, не утонуло, а, как оказалось, просто временно затаилось и теперь выплыло на поверхность. Внутренние враги, таким образом, потерпели сокрушительное поражение. Софа и Виталий сидели на педсовете как приговоренные, ожидалось, что Розенблум будет сводить с ними счеты.

Педсовету грозило перерасти в судилище, но случилось другое. Директор внимательно оглядел коллектив, явившийся в расширенном составе, особо выделил взглядом Киру, Софу и Виталия, и проникновенным, дрожащим от волнения голосом объявил тему: «Гуманизация школы». Затем он начал свою речь, из которой следовало, что на новом витке жизни школы

провозглашаются гражданский мир и согласие. Я готов сотрудничать со всеми, – сказал директор, – и с теми, кто вел против меня непримиримую войну, – тут взгляд его упал на сжавшихся Софу и Виталия, – и с теми, кого я, погорячившись, незаслуженно уволил. Тут весь расширенный педсовет, по словам Киры, взглянул в ее сторону. С размягченным, покрасневшим лицом директор объявил об ожидающейся амнистии: отныне все подвергнувшиеся опале могут рассчитывать на его благосклонность, уволенные будут восстановлены на работе в кратчайший срок. Он не помнит обид и надеется на взаимность вверенного ему коллектива. Последние слова Розенблюма потонули в аплодисментах. Расширенный педсовет стоя приветствовал новый курс. Под шум аплодисментов Кира стараясь не привлекать внимания, покинула помещение. Расширенный педсовет продолжался без нее.

– Таким образом, – резюмировала Кира со смехом, – мы с вами со следующей недели можем приступать к работе. Думаю, что и стаж нам восстановят, а? Как вы к этому относитесь, Амалия?

Как я могла к этому относиться? Телефон беспрестанно трезвонил. Кире звонили какие-то люди по поводу книг и мебели, звонил Боря – он все еще находился на территории Американского посольства, толпа вокруг него росла, Боря советовался с Кирой, как быть, звонили Кирины и Борины родители, спрашивали насчет книг и мебели, беспокоились о Боре, давали советы. Одновременно Кира разговаривала со мной и кормила Леничку. Малыш капризничал, отказывался есть самостоятельно, короче, освободился от запретов садика. Кира нервничала, срывалась на крик, тогда Леничка опускал головку, надувал губки и начинал громкий рев. Было жаль и Киру, и малыша. Раздался очередной звонок. Кира, с гримасой на лице, схватила трубку. После первых же слов она замахала мне рукой, я подошла. Звонила американка. Быстро и невразумительно она начала что-то объяснять. С трудом я поняла, что она находится в музее, Раи почему-то нет, и она просит чтобы кто-нибудь за ней приехал. Ай донт ноу зи вэй, зеа ра соу мэни пипл.

В этот момент Леничка, чем-то недовольный, поднял громкий крик. Ничего больше не слыша, я прокричала в трубку: ай уил кам. Американка что-то ответила, и начались гудки.

Леничка внезапно смолк, Кира сказала: «Опять с Раей истории, вечно теряется». В нерешительности я посмотрела на Киру, она показала мне глазами на Леничку, его не на кого было оставить, значит, придется ехать мне. Кошмар, я морально не готова, и платье надела почти домашнее, не для выхода, и вообще... сто лет никуда не ездила. Тем более одна, и что я буду с ней делать, с этой американкой? Я была в отчаянии и одновременно радовалась, что не нужно сейчас возвращаться домой, в надоевшие, опостылевшие комнаты, ставшие без мамы чужими и неудобными, к телефону, стреляющему в упор. Я поехала в музей.

Хорошо, что Кира жила возле метро, иначе я бы не добралась. Весь наземный транспорт стоял. Кругом говорили о какой-то демонстрации, которая идет сейчас в центре, у правительственных зданий. У выхода из метро было оцепление. Народ стоял кучками, все чего-то ждали. Я с трудом, расталкивая встречных, шла по направлению к музею. Очень хотелось повернуть назад. Удерживала мысль: американке еще хуже, чем мне, ей, наверное, кажется, что у нас революция.

Вышла к магистрали – отсюда рукой подать. Прямо по проезжей части навстречу мне двигалась процессия, с музыкой, лентами и плакатами. Музыка била в уши. Я ускорила шаг, поравнялась с первой колонной. В ней была молодежь – длинноволосые подростки, в джинсах, на многих были рубашки цвета хаки, девушки мало чем отличались от парней; почти у каждого в руках были портативные магнитофоны; казалось, земля дрожит от невообразимой какофонии.

Но сами участники процессии были молчаливы, шли с суровыми замкнутыми лицами, на самодельных плакатах я прочла: «Верните нам будущее», «Россия – для русских». Тоненькая девчушка с распущенными золотыми волосами размахивала белым флагом, на нем было напи-

сано корявыми красными буквами «Да здравствует потомок Рюриковичей!» Грохот и ярость магнитофонов и молчание колонны производили жуткое впечатление. Я побежала. Возле входа в музей выстроилась очередь. Здесь была выставка известного художника.

Пропускали как всегда небольшими порциями. Я пошла вдоль очереди, ища глазами Джейн. Она с отчаянным лицом стояла рядом с милиционером. Увидев меня, только выдохнула: «О». Я схватила ее за руку. Вместе с группой иностранных туристов под ненавистными взглядами очереди мы беспрепятственно проследовали к величественному входу в музей. Джейн быстро-быстро что-то говорила. Пристроились к очереди за билетами. Американка замолчала. Только изредка у нее вырывалось прежнее «террибл», «фэнтэстик».

Минут через двадцать, когда мы были у самой кассы, неожиданно появилась Рая. Серое лицо, растрепанная прическа. Она извинилась за опоздание: из-за демонстрации движение остановилось. Джейн улыбалась и кивала: «Оу, уе, уе». Отвернувшись от американки, Рая приблизилась ко мне: «Я только что видела Колю... в этой колонне... ну, – она показала рукой на улицу, – идет – глаза дикие, рядом какая-то девка с синими губами, и волосы, представьте, тоже синие. Мода что ли сейчас такая? Я кричу: „Коля, Коля!“ Он глаза поднял, увидел меня – и снова опустил, как ни в чем не бывало... а девчонка мне рожу скорчила. Что ж это? Как понять?» Она сдерживала слезы. Джейн с удивлением смотрела то на меня, то на Раю. Я пояснила: «Сам хоум траблс». Она кивнула: «Оу, уе», попробовала улыбнуться, улыбка была вымученной. Рая осведомилась, почему мы тут стоим. Услышав, что стоим за билетами, всплеснула руками: «У меня же пригласительные. Юрка же его друг ближайший». Мы тронулись цепочкой, возглавляемые Раей. Большая, с выбившейся из прически косой, покрасневшая, она сильно контрастировала со спортивной, маленькой, коротко стриженной Джейн. Интересно, как на этом фоне выгляжу я? Домашнее синее платье, мягкие туфли без каблуков... А, наплевать. Меня никто здесь не знает.

Рая предъявила билеты, мы вошли в зал. Народу было так много, что картин я почти не видела. Кое-где выглядывали из-за чьего-нибудь плеча лик святого, меч или копье героя, хвост змея. Люди, казалось, не смотрят картины, а находятся в ожидании. Толпились кучками, тихо перешептывались, бросали взгляды на другой конец длинного просторного зала. Там, как на сцене, но спиной к публике, стояли два человека. Рая, указав на одного из них, сказала: «Сам художник». Второй – маленький, в белом костюме, оживленно жестикулирующий, кого-то мне напоминал. Когда он повернулся лицом, я узнала своего сегодняшнего гостя, Колиного отца.

Кажется, он собирался что-то сказать, поднял руку вверх, ждал тишины. Рая устремилась вперед, прокладывая дорогу Джейн и мне. Вскоре мы стояли в нескольких шагах от художника и его доверенного лица. Оратор все не начинал, теперь он мне не казался печальным арлекином; в нарядном белом костюме, с игривой улыбкой на лице, он напоминал преуспевающего западного дельца. В ту минуту, когда оратор заговорил, я поймала на себе чей-то пристальный взгляд. Смотрела женщина средних лет с высокой белой прической, с браслетами на толстых руках. Рядом стоял седой мужчина в очках, тоже внимательно меня разглядывавший. Женщина поманила меня рукой в браслете, она и ее спутник стали пробираться к выходу. Еще ничего не понимая, я тоже полезла через толпу. Кто такие? Женщина по виду весьма вульгарная, я с такими предпочитаю не общаться, жаль, что сегодня я в таком затрапезе...

До слуха долетели отдельные фразы выступавшего: «в тяжелый для россиян час художник обязан... с теми, кто вышел на улицу... древнее благочестие... святых православия... безграничная вера в русскую душу...». Джейн без меня ничего не поймет... зачем я понадобилась этой толстой тетке? Они стояли у выхода из зала, возле самых дверей. Женщина быстро произнесла: «Вы Амалия, да? Я не ошиблась? Столько годов пробежало...».

Я узнала ее по речи, по диалектному выговору.

– Сусанна, вы?

– Узнала, а ведь годов тридцать пробежало, ну, может, чуть меньше.

Г-фрикативное то же, а вот надменности прежней нет, какая-то ласковая вся, круглая. Ужасно изменилась, неужели и я так?

– А ты, Амалия, не меняешься – худая, не то что... ты заговоренная, что ли?

И она толкнула локтем своего спутника. Тот не шелохнулся. Глаза его за притемненными очками были устремлены на меня. Я физически ощущала его изучающий долгий взгляд. Он? Не может быть. Неужели?

– Не узнаешь? Сусанна кивком указала на мужчину, он подался вперед.

– Вы? Это вы? Рюрик... Рюрик Григорьевич, – слова не шли у меня. Я почувствовала, как мгновенно краснею. Сусанна поглядела на меня насмешливо. – Именно так, Рюрик Григорьевич... ты что такая? Постарел?

Он по-прежнему не произносил ни слова, Сусанна же не закрывала рта.

– Мы женаты уже двадцать три года. Детей нет, но что поделаешь?

Она слегка вздохнула.

– Ты удивлена, да? А мы тогда же поженились, совсем скоро после нашей поездки, помнишь? – И снова быстрый насмешливый взгляд. – У тебя ведь тоже нет детей... и мужа, так?

Она ждала подтверждения своим догадкам. Бабское желание похвастаться мужиком перед бывшей соперницей, так и не вышедшей замуж. Вот он, реванш. Сусанна облизнула яркие губы, рассмеялась:

– Зарделась, словно девка красная.

– А сын? У вас же есть сын? – я смотрела на него, только на него. Но ответила Сусанна:

– Сын? Так он от первой жены, Алешка. Взрослый уже, художник – она показала куда-то в толпу, он нас и привел.

Разговор был исчерпан, можно было поворачиваться и уходить. Сусанна похвасталась передо мной своим семейным счастьем. Конечно же, она знает о поздравительных открытках, возможно, читает их, ей захотелось поставить все точки над *i*. Она – победительница, все стало на свои места, как изначально намечалось судьбой. Он – ее, и правильно, что я его не узнала, и вид у него... вид у него... Я уже уходила, но так захотелось оглянуться, чтобы посмотреть еще раз. Он все так же стоял у стены. Сусанны рядом не было. Минуту я стояла в нерешительности. Оратор тем временем закончил свое выступление, звучали аплодисменты... В сознании всплыла фраза: «Да возродится российская державность». Я быстро повернулась и остановилась перед Рюриком.

– Послушайте, я хотела вас спросить: вы – с ними?

Кругом кричали и аплодировали. Откуда-то вынырнула Сусанна:

– Рюрик, пойдем послушаем, сейчас Алеша будет выступать.

Я ждала. Ждала и Сусанна, в нетерпении покусывая губы.

Все последующее происходило, как в немом кино, в убыстренном темпе. Рюрик отделился от стены, отстранил Сусанну и, схватив меня за руку, повлек за собой. Люди с недоумением смотрели на нас. Оглянувшись, я увидела бешеное лицо Сусанны. Её открытый рот, что-то кричащий нам вслед.

По коридору из расступавшихся людей мы добежали до выхода. На крыльце у дверей остановились. Я задыхалась, он тоже дышал тяжело. После минутной паузы, наш бег продолжился – по аллее мимо милиционера и гудящей в ожидании толпы, по широкой теперь пустой магистрали, усеянной обрывками бумаги, мимо славного Кремля и дома Пашкова, вперед, все вперед.

Не знаю, как я выдержала этот бег. Остановились в начале улицы Горького.

– Помнишь? – он сказал мне ты, хотя раньше мы были на «вы». – Помнишь – мы гуляли здесь когда-то? – Он сжал мне руку. – Я ничего не забыл. На тебе была белая шапочка с помпоном, очень тебе шла.

Быстро взглянул на меня, сказал, как бы спохватившись:

– Ты мало изменилась, ты еще молода... – он не закончил, оборвал себя. – Спросишь, почему я не отвечал на твои открытки?

Он хотел что-то сказать. Я зажала ему рот, сама удивляясь своей смелости:

– Не нужно, я ведь ни о чем не спрашиваю.

Мне было хорошо и без его оправданий. Впереди была Пушкинская. Мимо с воем пронеслось несколько милицейских машин.

Мы оба вздрогнули, огляделись. Площадь перед Моссоветом была усеяна людьми, рядом с памятником Долгорукому возвышалась трибуна, с нее несло усиленное мегафоном: «До каких пор», «святая месть», «призвать к ответу». Площадь гудела, молодые люди неподалеку смеялись и передразнивали выступавшего, на них грозно шикнул мужчина в форме.

Мы с Рюриком одновременно ускорили шаг. Я заметила над статуей Долгорукова парящий в воздухе белый плакат: «Сограждане, присягайте Рюриковичу!». Рюрик перехватил мой взгляд.

– Ты спрашиваешь, с кем я. С этими ли? Здесь сложно. Ты, наверное, прочла мою статью... Это тактика, мне было нужно ее написать. У нас в институте засели негодяи, они ищут повода, я уже давно на подозрении... – он снова оборвал себя. – Это ужасно, Амалия, все эти годы... все эти годы я изменял сам себе.

Мегафонный голос грохотал уже где-то позади. Мы были у Маяковки. Рюрик подавленно молчал.

Я сказала: «Рю-рик, Рю-рик», сначала негромко, потом так, чтобы он слышал. – Послушай, может ты и есть тот самый Рюрикович, а?

Я смеялась. Я впервые в его присутствии назвала его по имени и сказала «ты». Он не заметил, спросил серьезно:

– Какой Рюрикович?

– Ну тот, Самозванец, может, он сейчас вовсе не на польской границе, а идет по главной московской улице, а?

Он тоже рассмеялся:

– Согласен, это я и есть, но при условии: ты будешь моя Марина.

Мы оба остановились, он снял очки и смотрел мне в глаза. У меня закружилась голова, я покачнулась и упала бы, если бы он не поддержал. Мы пошли дальше, его рука лежала у меня на талии. Она меня и поддерживала – и смущала. Я осторожно сняла его руку.

– Как ты думаешь, что делали испанские евреи, которые не захотели уехать?

Он снова полюбнял меня, сказал строго:

– Не дергайся, ты ведь на ногах не стоишь.

И после паузы:

– Что они делали? А что они могли делать? Выкрестились, поменяли имена, чттили короля и королеву, исполняли обряды новой веры, – он остановился, – и втайне молились своему Богу. – Он поглядел на меня, – и посему были на подозрении как враги государства и религии, ясно?

– А если б не молились своему Богу, не были бы на подозрении?

– Были, конечно, были бы. Тебе нужно уехать. Но не сейчас. Еще не скоро, еще есть время. И опять с жутким гудением пронеслись мимо нас патрульные машины. Мне кажется, в тот момент мы оба подумали, что оставшееся время – наше.

Пятница

Час или два ночи. Я не сплю. Последовательно вспоминаю, как все было. Мы долго гуляли. Дошли до Белорусского, потом повернули назад, снова оказались у площади Маяковского. Всю дорогу говорили, выплеснули друг в друга все, что накопело за годы. Рюрик о

кафедре, я – о школе, о не дающей надежды жизни, о пустяках, ставших проблемой, о путаном прошлом и неразгаданном будущем. Я привыкала к новому его виду, он казался ниже ростом, плотнее, очки ему шли, но из-за них не было видно глаз. В низком мужском голосе я пыталась уловить прежние мальчишеские интонации и, о чудо, они были, были. Его рука крепко держала меня за талию, не давая упасть; на меня нашло легкое бесшабашное настроение, я много смеялась, забыла о простом своем платье, сама казалась себе молоденькой девчонкой, и он, было видно, не понимает, что я давно уже не студентка.

Он продолжал во мне видеть ту прежнюю Амалию. Поехал меня проводить и, когда возле двери нужно было проститься, у него сделалось такое беспомощное лицо, что я сама притянула его голову и поцеловала. И он ушел. Завтра после заседания кафедры он придет ко мне, и мы проведем вместе целый день. День, наполненный до краев. Мне так хотелось узнать, как он жил без меня, час за часом. Но мне не нужна была его исповедь, повесть его семейной жизни. Есть вещи, которые невозможно объяснить словами, например, женитьбу на Сусанне. Я знала: в его прошлом был только он – Рю-рик, Рюрик. Он и я.

Когда я, открыв ключом дверь, входила в темную квартиру, раздался звонок. Я отпрянула. Опять эти? Включила свет, прошлась по комнате, успокаивая дыхание. Потом все же подошла к вздрагивающему телефону. Звонила Кира:

– Амалия, случилось ужасное, Боря в больнице. Там была потасовка, возле посольства. Черная сотня прямо с митинга двинулась бить виноватых, ну а виноваты у нас сами знаете кто. – Она не плакала, только голос дрожал. – Вас не было, я звоню уже час. Если хотите, переезжайте ко мне. Вместе не так страшно. Какие-то темные времена, вон и Галич этот на границе... Вы слышите? Возможно, это правда, во всяком случае, о нем говорят уже в полный голос. Так переедете? Вы бы с Леничкой мне помогли, пока я буду в больницу ездить... Вы слышите, Амалия? Почему вы молчите?

– Я слышу, слышу, – я сама не узнавала своего голоса, он звучал не ко времени звонко, – но переехать к вам не смогу, не смогу, потому что... видите, я... я хочу сказать, что в данный момент...

– Что с вами, Амалия, вы, случаем, не пьяны? Или влюбились? Я обрадованно кивнула телефонной трубке:

– О, это так, наверное, вы правы, Кира, я, кажется, влюбилась.

Трубка ошарашено молчала, и я положила ее на рычаг. А потом начала смеяться, неудержимо. Вот дуриха – влюбилась. Второй раз в жизни, да еще в того же самого – смех, да и только. Жаль, что нет его сейчас со мной. Нет, нет, это как раз хорошо. Стану думать о нем – и не будет ни скучно, ни страшно, ни одиноко. Снова звонил телефон. Уже без колебаний я сняла трубку.

– Кира, вы?

В трубке молчали. Где-то в глубине телефонного пространства звучала громкая лающая музыка. Что-то булькало. Я внимательно вслушивалась в звуки, стараясь уловить человеческое дыхание.

– Коля, это ты? Ты? Ты молчишь, да? Ты звонишь для чего, Коля?

Трубка молчала. Я повеселела.

– Ты звонишь, чтобы извиниться, да, Коля? Ты просишь прощения, так?

Ни одного звука с той стороны. У меня отлегло от сердца.

– Спасибо, что позвонил. Сегодня для меня радостный день, но без твоего звонка, Коля, на душе осталась бы горечь. Ты правильно сделал, мальчик, что позвонил.

Я снова прислушалась. Показалось, что я слышу чей-то вздох или шепот. Потом начались гудки. Коля или не Коля? Я снова рассмеялась. Меня прямо преследуют фантомы. Быстро постелила постель, легла и погрузилась в воспоминания. Но довольно быстро – часа в два – заснула. И спала без сновидений до самого утра.

А утром... В пятницу утром...

Меня разбудило солнце. Просыпаться на рассвете, потому что радость душит. Неужели мне суждено пережить все вновь? Я вскочила – предстояло много дел. Нужно съездить на рынок, обегать все окрестные магазины, потом приготовить вкусную еду – какую – я еще сама не знала. Но спешить не хотелось. Медленно подошла к зеркалу, стала вглядываться, отвернулась, посмотрела вновь. Какой он меня видит? Все же, наверное, не такой, какой я вижу себя сама – морщинки у глаз, желтоватая отцветающая кожа, слава богу, волосы еще не седые и зубы от природы хорошие. Да, далеко не студентка-первокурсница. Но и не старуха. В троллейбусе обращаются «девушка», впрочем, сейчас все девушки, даже девяностолетние. А что надеть? У меня два наряда на выход – костюм и черное шелковое платье. Платье – мамин подарок – я еще ни разу не надевала, некуда было в нем идти.

Я приложила краешек к лицу, взглянула в зеркало – похожа на цыганку. Чудесно, что у меня есть красивое новое платье, еще чудесней, что мне захотелось его надеть. Май соул'з соу хэппи, зэт ай кант сит даун.

Я расхаживала по квартире и напевала негритянский спиричуэлз. Когда-то преподавательница кружка художественного чтения Людмила Михайловна помогала мне найти интонацию для заключительной строфы «Даров Терека». Радость – да, но какая. Такая, что сердце рвется из груди, что невозможно усидеть на месте. Тогда-то она и пропела мне этот спиричуэлз. Я не поняла смысла. Она объяснила. Господь приказывает негру: «Садись, раб!», а тот отвечает: «Не могу!». Три раза просит господь, но негр не садится. Он говорит: «Моя душа так счастлива, что я не могу сесть». Мне тогда этот спиричуэлз очень помог, читала Лермонтова так, что зал замер. И вот сейчас вспомнилось. Низкий, веселый голос Людмилы Михайловны ее озорная улыбка. Май соул'з соу хэппи, зэт ай кант сит даун.

Недавно совсем я о ней вспоминала, что умерла – и все, и память уйдет, но ведь я своим ученикам этот спиричуэлз передала. И Коле передала, и Марине, и Оксане, и в школе скольким... В этих словах, в музыке живет частичка Людмилы Михайловны и моя частичка тоже живет, и так до бесконечности, до конца поколений. Май соул'з соу хэппи...

К двенадцати часам я уже побывала на базаре и в магазинах. Я накормлю его скромно, но вкусно. С детства я умею готовить одно мясное блюдо – бефстроганов, кусочки мяса в сметанном соусе – еще бабушка научила, вот оно-то сейчас кипело и булькало на большой сковородке в кухне. На десерт – клубника – по невероятной цене, но зато какая! К чаю ничего не достала, заглянула по старой памяти во все местечки, где когда-то водилось вкусное, но всюду было пусто и даже запахи вкусные выветрились. Обидно, что съедены Колины конфеты, пригодились бы сейчас. Купила даже шампанское, на всякий случай. В час бефстроганов был готов, гарниром будет жареная картошка с огурцом.

Долго искала трофейный немецкий сервиз с драконами, почему-то нашла его в платяном шкафу, кто его туда запрятал? Мама? Старческий склероз? Вынула четыре изящных фарфоровых тарелочки – две поменьше, две побольше. На белой скатерти они смотрелись замечательно. Не хватает цветов, но... интересно, когда у них кончается кафедра? День жаркий, добираться будет тяжело, ага, шампанское нужно поставить в холодильник.

Может, сбегать купить мороженого? Нет, поздно уже, не успею. А вот странно. Почему у меня нет даже мысли, что он не придет. Ну, в самом деле, зачем ему это нужно? Провести время? Но... но я не из тех, с кем проводят время, он это понимает. К тому же жена... Сусанна наверняка устроила ему сцену, взяла клятву... следит за каждым шагом. Она из тех, кто не упустит своего... Своего... Разве он ее? Он не ее. И не мой. Он свободен. Но я знаю, верю, что нужна ему я, только я.

Он пришел в четыре часа. Нервный, уставший, без цветов. На кафедре склока, варягоссы ополчились на европейцев. Те в меньшинстве, короче, он подал заявление. Он говорил отрывисто, нервно, не глядя на меня. На последних словах снял очки, посмотрел.

Я спросила:

– Ты бы ушел, если бы мы не встретились?

– Ушел бы рано или поздно, но наша встреча мне помогла... Знаешь, это невозможно выдержать. Сегодня главной их мишенью был профессор Купер, фольклорист; видите ли, он не способен понять характер русского народа, а, соответственно, и народного творчества. Купер собрал сборник народных песен, его сегодня зарубили, идет настоящая травля, я не могу в этом участвовать.

Он ходил по комнате то снимая, то надевая очки.

– В конце концов плохо будет им, и в дураках останутся именно они. Купер уедет и увезет свой сборник, его опубликуют за границей, а в нем баллады, романсы... Где он только их откопал, счастливчик? И все это уйдет из страны, представляешь?

Я представляла. История повторялась. Чужая культура становится твоей, ты живешь ею, она вырастает в твою жизнь, вернее твоя жизнь в нее вырастает, но приходит время – и тебя как чужака выкидывают вон, эта культура наша, а не твоя, и эта страна наша, а не твоя, и вообще мы истинные, а ты самозванец. Так было в Испании, так сейчас у нас.

– Знаешь, ты говоришь, что плохо будет им и они останутся в дураках. Согласна. Но подумай, каково будет ему.

– Ха, уверяю тебя, он великолепно устроится, его примут в любом университете, специалиста такого класса... Но... но ты имеешь в виду другое. Ты ведь и о себе думаешь, я угадал?

Я отвернулась. Мы молчали. А потом я встала и вынула из холодильника шампанское.

– Теперь мы оба безработные, это стоит отметить.

Пробка вылетела так стремительно, что я не успела увернуться. Все мое красивое платье было в шампанском.

У Рюрика, неумело открывшего шампанское, сделалось такое лицо, что я погладила его по голове:

– Ничего, пустяки. А правда, оно красивое?

– Платье – чудо. Ты в нем как испанская королева. Пришлось переодеться в домашнее синее – костюм слишком надоел. Когда я появилась в синем полотняном платье, Рюрик всплеснул руками:

– А в этом – ты дочь испанской королевы – инфанта.

Видно, он уже забыл, что видел меня в этом наряде, да и платье было самое простое, из дешевого мягкого полотна, но он не забыл другого, и сердце у меня стукнулось и затрепетало.

Я принесла из кухни дымящийся бефстроганов – плод моих кулинарных усилий, поставила перед ним, мясо пахло весьма аппетитно. Рюрик отодвинул тарелку и потянулся к вазочке с курагой:

– Прости, я тебя не предупредил, уже лет десять как не ем мяса.

И опять я не огорчилась, наоборот, было приятно, что и в этом мы похожи. Съели курагу, принялись за клубнику, выпили бутылку шампанского. Я забыла, когда в последний раз пила вино. Шампанское подействовало на меня как наркотик, я впала в состояние удивительной легкости и безудержного веселья, хотелось двигаться, петь, смеяться.

Я закружилась по комнате, потянув за собой Рюрика.

– Как? Без музыки?

– Почему без музыки?

Я взяла первую попавшуюся пластинку, поставила под иглу. Мужественный и нежный мужской голос запел «Упоительно встать в ранний час». Мы замерли, танцевать под этот романс было бы кощунством. Голос певца набирал силу, наполнялся страстью, желанием, и вот наконец зазвучала самая важная кульминационная строка:

Я люблю тебя, панна моя!

Рюрик подошел ко мне близко-близко; взял обеими руками за плечи и с силой притянул к себе:

– Я люблю тебя, панна моя, слышишь? Будешь моей Мариной?

Я отшатнулась. Видимо, на моем лице отразился испуг, потому что и его изменило выражение, глаза за стеклами очков глядели надменно. Что, собственно, произошло? Я села. Возбуждение постепенно проходило. Сказала, чтобы не длить молчание:

– Помнишь нашу четверку в экспедиции? Как они танцевали, а баба Галя на них радовалась.

– Да, но дальнейшее складывалось у них не столь прекрасно. Сева был аспирантом у нас на кафедре, светлая голова, погиб от алкоголизма, спился, короче, а Алексей, или Лека, как мы его звали, бросил семью – жену с дочкой – и женился вторично, знаешь, на ком? На Севкиной вдове, там тоже был ребенок. Шекспир да и только.

А я подумала: от судьбы не уйдешь.

Молчание становилось невыносимым. Рюрик стоял у окна, спиной ко мне, я сидела за столом, перебирая бахрому скатерти. Что, собственно, случилось? Чего он ждал от меня? Неужели он думает, что я... что он... что... все было так чудесно... и вдруг...

Тишину прервал телефон. Звонила Кира. Сказала, что они с Джейн возле моего дома. Джейн хочет зайти проститься, она завтра улетает к себе. Мне ничего не оставалось, как согласиться.

Рюрик отошел от окна, лицо его было замкнуто. Неужели он уйдет сейчас?

– Не уходи, они быстро. Мы должны поговорить, – голос мой звучал жалобно.

Они пришли очень быстро. Обе какие-то усталые, невеселые и голодные, мой бефстроганов съели в две минуты, долго пили чай с сахаром – Кира показывала Джейн, как пьют в прикуску, – отдыхали. Еще в прихожей обе поняли, что у меня гость. Джейн стала прихорашиваться, а Кира, поглядев на себя в зеркало, махнула рукой.

Действительно она сильно изменилась – побледнела, лицо осунулось. Я спросила, как Боря. Она не ответила. Сказала только: «Если уж начались несчастья, то... Ты знаешь, Юрка в больнице. В той же, в Склифасовского, этажом ниже. Рая сейчас у него. Такое горе у них, такое...»

– Коля? – меня словно ударило.

– Да нет, не Коля. Коля как раз вернулся сегодня днем. Но не один. Привел с собой какую-то девчонку, Рая ее девкой называет, говорит, с синими волосами. Юра, к несчастью, был дома. Начался скандал. Юра пригрозил, что вызовет милицию и те девчонку уведут. Коля бросился на него, они сцепились. Рая не могла их разнять, стала звать соседей, Джейн была в соседней комнате, представляешь, какой ужас! В общем Коля ударил его ножом.

– Коля? Ножом?

– Ну да, чем-то железным, Рая не может толком объяснить. Когда я приехала, у них с Джейн была прямо истерика.

– А Коля?

– Его увели. Он в милиции. Девчонка сразу испарилась, как и вовсе не бывало. Джейн я взяла к себе. Шекспир, правда?

Кира подняла на меня глаза, в них читалось: все кончено, никуда нам отсюда не уехать.

– А Леничка с кем?

– Леничка? – Она ответила не сразу. – А Леничка с Софой. Как раз совпало, что Софа нагрнула. Ее-таки выгоняют. Сразу после того расширенного педсовета Розенблюм собрал административное совещание. И там, как Софа говорит, заявил, что гуманизм – это не всепрощение, что клеветникам и интриганам не должно обольщаться, ну и потом вызвал к себе Софу... насчет заявления...

– А Виталик?

– О, Виталий вывернулся. Он принародно покаялся, молил о прощении, и Розенблум его оставил. Софа считает, что это крупная ошибка директора, теперь Виталик – его злейший враг, он будет ждать своего часа и когда-нибудь... Кира не договорила, к нам подошла улыбающаяся Джейн. Поразительная способность преображаться. Еще пять минут назад она была поникшей и вялой. Джейн протягивала мне какую-то фигурку из крашеного дерева – всадник с перьями на голове, держащий в руке лук.

По-видимому, индеец. Она начала что-то быстро объяснять насчет своего подарка, но мы вошли в комнату, и навстречу шел Рюрик. Я всех представила. Рюрик поцеловал дамам ручки. Я постаралась взглянуть на него их глазами. Представительный седой мужчина в белой рубашке с черным галстуком, в модных чуть затененных очках, крепкий, в хорошей форме. Когда-то мне показалось, что ему идет борода, сейчас бороды не было, и трудно было ее представить, к теперешнему его облику она не шла. А вообще я люблю мужчин с бородой, может, это во мне кровь говорит... еврейские мужчины по обычаю бородаты, впрочем, как и русские.

Очнулась я от своих мыслей от взрыва смеха. Глазам не поверила. Кира и Джейн смеялись! Рюрик что-то им рассказывал, причем, Джейн – на прекрасном английском, а Кире он успевал переводить на русский. Смеялись они одновременно. С ума сойти – какой он разный; значит, может быть и таким – раскованным, остроумным, дамским угодником... И все это мое? Будет моим, если...

Ушли они как-то внезапно. Кира вдруг заторопилась, поднялась, побежала к телефону. Выяснилось, что Софа не справляется – ребенок капризничает, зовет маму, отказывается спать, кушать и даже играть.

– А Рая, Рая не звонила? Я отчетливо слышала глухой Софии голос на другом конце провода, в Кириной квартирке.

– Звонила твоя Рая. Оба в хорошем состоянии, повреждения легкие, больше недели держать не будут. Слышишь? Не будут держать больше недели, скоро твой Борька вернется. А ты сию минуту возвращайся, слышишь? Уж на что моя Ленка, но тут... Я уже изнемогаю! Последнее слово Софа произнесла по слогам. И Кира тут же начала прощаться. Джейн явно не хотелось уходить, но она тоже поднялась.

Пока Кира звонила, Рюрик перешел на американский сленг, Джейн беспрерывно хохотала. Я слабо понимала, о чем идет речь: что-то о нескольких способах покорить сердце женщины и мужчины; в голове вертелось: нужно поговорить, нужно поговорить. Рюрик проводил дам до прихожей, снова поцеловал им ручки; обе, по-видимому, были им очарованы. В коридоре Джейн отозвала меня в сторону, быстро и эмоционально зашептала, что понимает, в каком мы здесь положении, что сочувствует и готова помочь. Кира ей рассказывала, что у моих родных были родственники в Америке, она могла бы отыскать их потомков, хоть это и трудно.

Я ее прервала.

– Спасибо, Джейн, не стоит хлопотать. С родственниками связь давно прервана, а от судьбы своей не уйдешь.

Джейн понимающе улыбнулась, глазами показала внутрь комнаты:

– Хи?

Я кивнула.

– О! Ю а хэппи! – и она выбежала к поджидающей ее на площадке Кире.

В то же время Кира жестами и мимикой пыталась мне показать, как нехорошо было с моей стороны прятать такого мужчину, но что она, Кира, все знала, обо всем догадывалась, ее не проведешь. Последнее, что я видела, закрывая дверь, – поднятый вверх Кирина палец.

– Ты хочешь, да?

– Хочу.

– Но... но я не умею...

- Я тебя научу.
– Но мне неловко, стыдно... я гордая очень.
– Я разведусь, мы поженимся.
– Я не о том. Ты считаешь, это обязательно?
– Я уже не мальчик, да и ты...
– Помнишь, мы говорили о Лермонтове, как он стремительно созрел. Так вот я – анти-Лермонтов. Мне сейчас лет пятнадцать, не больше. Ты смеешься?
– Пора начинать. В пятнадцать уже можно. У меня есть предложение. Завтра суббота – поедем ко мне на дачу. Поездка тебе кое-что напомнит.
– Что ты имеешь в виду?
Помнишь Ивановку? Большая такая деревня, вокруг холмы и овраги... Я там купил дом. Года через три после нашего вояжа. Ну так как? Только нужно встать пораньше, к восьми быть на автобусной станции, иначе не достанем билетов. Согласна?
– Но... но у меня были планы... я хотела поехать к маме.
– Так поедешь в понедельник. Какая разница? Ты же свободна.
А два дня мы проведем вместе. Я хочу быть с тобой вместе, слышишь? У меня голова кружится, когда подумаю... Потеряно столько времени. Жизнь уходит. Уходит жизнь. Какая у тебя чистая упругая кожа.
– Не нужно, не трогай. Я подумаю. Я точно пока не знаю. В понедельник, говоришь. А действительно, почему нет? Мама только в среду уехала. Среда, четверг, пятница... Всего пять дней без меня. Всего-то пять дней. Знаешь, я, наверное, поеду с тобой. Только ты... ты не сразу... я должна привыкнуть, мне это так тяжело, так стыдно, ты не представляешь... Ты только ко мне сейчас не прикасайся. Отойди. Вот так. Так Мариной, говоришь? А ты, стало быть, Самозванец. Не слишком привлекательно. Мы плохо кончим. Мы оба плохо кончим.
– Замолчи. Все будет чудесно. Я люблю тебя. Хватит жить чужую жизнь. Надоело участвовать в балагане. Больше я тебя не отпущу.
– Пусти. Я еще не привыкла. Пусти, слышишь? Значит, завтра в восемь. У какого метро? У Щелковского. Не опаздывай. Давай я позвоню тебе в половине седьмого.
– Не нужно, я встану. Кстати, что ты скажешь Сусанне?
Не важно. Она уехала к матери. Так что... Ты не хочешь, чтобы я остался?
– Нет, уходи. Поздно уже. И я устала.
Так я пошел? Почему ты грустная? Я не хочу тебя оставлять такой. Улыбнись... или скажи что-нибудь...
– О, пожалуйста. А ю хэппи?
– Уе, оф кос... энд ю?
– Я? Послушай, почему ты не уходишь? Так и будешь стоять в дверях? Соседей разбудим. Иди. Я приду завтра, приду.

Суббота

Черное, бесформенное, громоздкое. Вот-вот перевернется от большой волны. А если и не от волны, все равно погибнет. По берегу скачет всадник, гнется к седлу, прицеливается из лука. От волны или от стрелы? От стрелы или от волны? А что это такое – черное, громоздкое, бесформенное? Где-то я про это слышала или читала... Еще такое странное название, не вспоминается. А, ну конечно, пироскаф. Это *Пироскаф*. Стихотворение Баратынского. Всю жизнь был разочарован. А перед смертью написал: «Завтра увижу я башни Ливурны, завтра увижу Элизий земной». Путешествовал по Италии на пароходе. Почему не пароход, а Пироскаф? Чтобы было понятно: это о судьбе. И заклинает свою судьбу: «Вижу Фетиду, мне жребий благой емлет она из лазоревой урны».

Увидел благой жребий... А судьба не поддалась. Может, даже не слышала его заклинаний. Я сплю или нет? Уже нет, кажется. Интересно, сколько сейчас времени? Светлеет. Раннее утро, должно быть. Часов около шести. Ночь прошла. Сегодня для меня начинается новая жизнь.

Чего я боюсь? Прозы? Разочарования? Почему в голову лезут то пироскаф, то этот всадник? А какую славную фигурку Джейн подарила! Я еще не рассмотрела ее как следует. С луком, а лицо, кажется, не злое. Или злое? Надо рассмотреть. Сейчас нужно встать, чтобы собраться. Я ведь еще не решила, что с собой взять. Зубную щетку, крем, туфли, полотенце, халат... А, даже думать не хочется.

Покидаю что-нибудь, не в этом дело. А дело в том, что начинается новая жизнь. Ой, звонок, кажется. Кто бы в такую рань? Слушаю. Ты? Сейчас уже половина седьмого? Нет? Шесть часов? Я так и думала. Нет, я спала. Со сновидениями. Но не теми, о которых ты думаешь. Мне снились буря на море и всадник со стрелой. К чему бы это, а? Какой вопрос? И ты из-за этого не спал? Глупый. Конечно, счастлива. Я счастлива. Завтра увижу я башни Ливурны. Это так, вспомнилось. Нет, как договорились. Не передумала. А ты? Хорошо. До встречи.

Я счастлива? Почему в душе все время что-то зудит, мешают, словно заноза. Быстрее собираться, думать только о сборах, иначе все пропало. Зубная щетка, туфли, халат... Халат, туфли, зубная щетка. Вчера Кира и Джейн были от него в восторге. Редкое сейчас качество – развлекать дам. Вести занимательную беседу. Как покорить женщин и как мужчин. А как, собственно? Неужели это известно? Насколько я знаю, путь мужчины к сердцу женщины был неизвестен даже Соломону.

Путь орла в небе, змеи на скале, мужчины к сердцу... Где же мои туфли? Так я и за два часа не соберусь, а у меня только час. В семь нужно выйти. Туфли, туфли, туфли. Туфли, зубная щетка. А, аллах с ними, с туфлями. Ничего не возьму. Поеду как есть.

Интересно, Кире звонить рано еще? Спит ведь. Будить не хочется. Уехать не предупредив? Нет, так нельзя. А вдруг что-нибудь случится? И никто ничего знать не будет, где я, с кем. Сказать ей правду? А как иначе? Уезжаю на дачу к подруге? К какой? Это смешно и глупо. Скажу как есть.

Что делать – придется будить. Двести девять, пятьдесят один, девяносто шесть. Кира? Это я, Амалия. Извините за ранний звонок, но... Не спала? Что такое? Коля? Вскрыл себе вены? Слушайте, когда это кончится? Он жив? Слава богу. Да, Рая, Рая. Но главное, что оба живы. Это главное. Передайте ей от меня... ну да. Что? Собираетесь на аэродром?

Бедняжка Джейн! Наши трагедии разворачиваются у нее на глазах. Да, очень впечатлительная. Привет ей от меня и спасибо за подарок. Чудесный. У этого стрелка такое доброе лицо, такое милое. Да, да, спешите.

Трубку повесила. Перезвонить? А, какая уже разница, ей не до меня. Своих бед, да еще этот Коля. Бедный мальчик. Вскрыл вены. Значит, есть еще совесть. Значит, не зверь, человек. Поднять руку на отца... как не вяжется с Колей. У него лицо такое. Очень похож на Сергея. Была у меня в соседней школе подруга, как-то пришла к нам на вечер. Спросила, есть у тебя парень? Я так растерялась, что кивнула. А она: покажи. А он сидел далеко сзади. И я повернулась и давай вслух считать ряды до его ряда. Говорю ей: вон тот, через пять рядов. Все смотрят, шушукаются.

Что со мной тогда случилось? Всегда такая скромная. Мы с Сергеем в то время да и потом двух слов не сказали. Только однажды я пришла в их класс, когда в нем никого не было, и села за его парту, а там на крышке ножичком было вырезано: Амалия. А потом он погиб. По случайности. Его сбил автобус. Автобус. Автобус. Автобус. Чтобы успеть на автобус, я должна выйти через десять минут, даже раньше. Пока до метро доберусь...

Ну ладно. С собой беру только косметичку и зубную щетку. Прекрасно. Посидеть перед дорожкой. Все-таки новая жизнь... Ключи у меня? Так, кошелек. Прекрасно. С Богом. Что-

то я еще хотела, что-то еще. Какая-то мысль... что-то непременно-непременно. Сервиз трофейный забыла убрать, так и останется на столе до моего приезда. Мама бы мне выдала. Мама! Вот что. Я о маме должна была подумать. Как это я о ней забыла? Начисто.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.